

ISSN 0132-1366

АКАДЕМИЯ НАУК
СССР

Советское
СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

2

1986



ИЗДАТЕЛЬСТВО
• НАУКА •

Советское СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

МАРТ—АПРЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Зуев Ф. Г.</i> Новая редакция Программы КПСС о закономерностях развития мировой социалистической системы и социалистического содружества	3
<i>Искольдский А. И.</i> Рабочий класс Югославии в годы социалистической индустриализации.	9
<i>Матвеев Г. Ф.</i> Некоторые черты развития капитализма в сельском хозяйстве Болгарии в 1878—1912 годах	21
<i>Соколовская О. В.</i> Английская и французская дипломатия и вовлечение Греции в Антанту в 1916 году.	31
<i>Думин С. В.</i> К истории развития ленного землевладения в Речи Посполитой в XVII веке (Смоленское воеводство в земельной политике династии Вазов)	43
<i>Гудков В. П.</i> История литературного языка у сербов в освещении Н. А. Попова	58
<i>Баранов А. И.</i> Русская литература в «Дневниках» Стефана Жеромского	66
<i>Яхич Дж. А.</i> (СФРЮ). О лингвогеографическом изучении боснийско-герцеговинских говоров	75
<i>Романкова Н. В.</i> Формальные признаки авторского стиля Климента Охридского и Житие Константина Кирилла	89
<i>Герд А. С.</i> К морфологической типологии древнеславянских текстов	97

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

<i>Николаев С. И.</i> Произведения М. К. Сарбевского в России	102
---	-----

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Гришина Р. Д.</i> Сирков, Н. Горненски, С. Петрова, Г. Баталски. Народът против фашизма. 1939—1945. Исторически очерк за антифашистката борба на българския народ по време на Втората световна война	108
---	-----

2

1986

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1965
ГОДУ

МОСКВА

<i>Иванов Ю. Ф.</i> Из истории университетского славяноведения в СССР . . .	110
<i>Герштова Я.</i> (ЧССР). Кишкин Л. С. Чешско-русские литературные и культурно-исторические контакты. Разыскания, исследования, сообщения	112
<i>Кабакова Г.</i> Новые румынские исследования по фольклору	114
<i>Хелимский Е. А.</i> Новый славистический журнал в Финляндии	119

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>И. К.</i> Собрание Международной комиссии по славяноведению	122
<i>Татаренко А.</i> На межвузовском семинаре сорабистов	123
<i>Иванов С. А.</i> Конференция молодых ученых по проблемам этногенеза, ранней этнической истории и культуры славян	125

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. КОСТЮШКО (главный редактор), В. А. ДБЯКОВ,
 В. В. ЗЕЛЕНИН (зам. главного редактора), В. И. ЗЛЫДНЕВ,
 В. Г. КАРАСЕВ, Д. Ф. МАРКОВ, А. И. НЕДОРЕЗОВ, С. В. НИКОЛЬСКИЙ,
 Ю. А. ПИСАРЕВ, Л. Н. СМЕРНОВ, Н. И. ТОЛСТОЙ (зам. главного редактора),
 Я. Б. ШМЕРАЛЬ

Адрес редакции: 117312, Москва, ул. Вавилова, д. 37а

Телефон 124-98-11

Зав. редакцией *Е. В. Пономарёва*



НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРОГРАММЫ КПСС О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОДРУЖЕСТВА

С XXVII съездом КПСС связан качественно новый этап в развитии советского общества. В предсъездовских документах обобщен предшествующий опыт исторического развития социализма в нашей стране и мировой социалистической системы в целом, намечена программа совершенствования развитого социализма на основе концепции ускорения социально-экономического развития нашей страны. В проекте новой редакции Программы КПСС с историческим оптимизмом подчеркивается неизбежность победы нового общественного строя над капитализмом — последним в истории человечества эксплуататорским строем, констатируется, что всемирно-исторический поворот человечества к социализму, начатый Октябрьской революцией, — закономерный результат общественного развития.

Практика социалистического строительства в Советском Союзе, опирающаяся на марксистско-ленинскую теорию, раскрыла основные закономерности становления и развития реального социализма как общественного строя. Эти закономерности ныне подтвердились практикой строительства социализма в других странах. Социализм наглядно подтвердил свои неоспоримые преимущества перед капитализмом. Ныне сложилась и успешно развивается мировая система социализма.

Развитие мировой системы социализма представляет собой творческое воплощение в жизнь принципов научного социализма с учетом складывающейся реальной обстановки. Этот процесс происходит в русле действия исторической тенденции мирового развития — интернационализации хозяйственной и всей общественной жизни. Эта тенденция явственно обнаружилась уже при капитализме и подлежит полному завершению при социализме. Все более возрастающий уровень развития производительных сил обуславливает ступени и этапы этой интернационализации.

В условиях действия исторической тенденции к интернационализации хозяйственной и всей общественной жизни развитие мирового социализма предстает как комплекс многоплановых процессов, важнейшими из которых являются два: с одной стороны, повторение, воспроизведение в различных странах единых черт в экономике, политике, культуре, т. е. интернационализация хозяйственной жизни, политики, культуры и всей духовной жизни и, с другой стороны, формирование единой мировой общности, единого мирового социально-экономического целого.

Что касается первой стороны, в проекте новой редакции Программы КПСС обращается внимание на непреходящее значение опыта, накопленного в социалистических странах. Подчеркивается, что прошедшие десятилетия обогатили практику социалистического строительства, наглядно

выявили многообразие мира социализма. В то же время опыт этих десятилетий свидетельствует об огромном значении общих закономерностей развития социализма — таких, как: власть трудящихся при руководящей роли рабочего класса; руководство развитием общества со стороны Коммунистической партии, вооруженной идеологией научного социализма; утверждение общественной собственности на основные средства производства и на этой базе планомерный рост экономики в интересах всего народа; осуществление принципа «От каждого — по способностям, каждому — по труду»; развитие социалистической демократии; равноправие и дружба всех наций и народностей; защита революционных завоеваний от посягательств классовых врагов.

Использование общих закономерностей в конкретных условиях каждой из социалистических стран, сказано в проекте новой редакции Программы КПСС, — основа их уверенного продвижения вперед, преодоления трудностей роста и своевременного разрешения возникающих противоречий, реальный вклад правящих коммунистических партий в общий процесс социалистического развития.

Когда речь идет о второй стороне развития мирового социализма, то имеется в виду невиданный ранее тип международных отношений, складывающихся между социалистическими государствами. Их прочный фундамент — нормативные принципы социалистического интернационализма: марксистско-ленинская идеология, классовая солидарность, дружба, сотрудничество и взаимопомощь в решении задач строительства и защиты нового общества. В этом же русле лежит действие общедемократических принципов, таких, как равноправие, уважение независимости, суверенитета каждого государства.

Формирование и развитие мировой социалистической системы — длительный и сложный процесс. Эта система выступает как социально-экономическое сообщество всех социалистических стран, объединенных общностью избранного их трудящимися социалистического пути развития, связанных объективной взаимозависимостью и взаимодействием, единством коренных интересов и целей, однотипностью основных политических и экономических структур, развитием на основе общих закономерностей социализма, как общественного строя.

Полнее всего, говорится в проекте новой редакции Программы КПСС, отношения социалистического интернационализма воплотились в социалистическом содружестве. Здесь речь идет не только об объективной взаимозависимости социалистических стран, но и о научном осознании этой взаимозависимости стран мировой системы социализма, о проведении в отношениях между ними интернационалистской политики, о дополнении объективных взаимосвязей сознательно налаженным политическим и экономическим сотрудничеством. Такое сотрудничество социалистических стран осуществляется в рамках Организации Варшавского Договора и Совета Экономической Взаимопомощи. Страны, входящие в эти организации, соединены общностью коренных интересов и целей, узами многопланового сотрудничества, координируют свои действия в международных делах. В проекте новой редакции Программы КПСС подчеркивается, что история не знала такого сообщества стран, где никто не имеет и не может иметь особых прав и привилегий, где международные отношения действительно превратились в отношения между народами, где сложились и развиваются живые плодотворные связи на самых разных уровнях — от высшего партийного и государственного руководства до трудовых коллективов. Содружество умножает силы братских государств в социалистическом строительстве, помогает обеспечивать их надежную безопасность.

Процесс постепенного сближения стран социалистического содружества на основе общности интересов и усиливающегося сходства их общественно-политического и экономического строя в результате целенаправленной деятельности коммунистических и рабочих партий стал отчетливо проявляться вначале как реализуемая ими тенденция, а затем как действующая закономерность.

Каждой общественно-экономической формации, в том числе и коммунистической, присущи закономерности ее становления и развития. Становление и развитие коммунистической формации сочетает в себе социальный переворот и глубочайшую перестройку социально-экономической жизни в национально-государственных рамках с последующим решением более сложной задачи — достижения интернационального единства всех трудящихся, стирания национальных различий и последующего слияния наций. Научный анализ этого процесса был дан В. И. Лениным. Ленинская концепция исходит из того, что мировой процесс перехода от капитализма к социализму осуществляется неодновременно во всех странах и разворачивается неравномерно в мировом масштабе. Первоначально социализм побеждает в немногих или даже в одной стране, после чего наступает более или менее длительный период мирного сосуществования между капитализмом и социализмом. После этого начинается очередная тур социалистических революций. Отпадение от капитализма новых стран ведет к образованию мировой социалистической системы, которая с определенного этапа начинает оказывать решающее воздействие на ход мировых событий.

Ряд социалистических революций, сливаясь с растущей национально-освободительной борьбой народов, с развитием ряда стран по некапиталистическому пути, дают в своем единстве многоступенчатый мировой революционный процесс, обеспечивающий повсеместную замену капитализма и докапиталистических отношений социализмом.

Неравномерность развития капитализма, усилившаяся в период империализма, вызвала различные степени его зрелости в различных странах, что предопределило разнообразие и специфические условия революционного процесса. Это обстоятельство делает исторически неизбежным разнообразие путей и темпов установления диктатуры пролетариата, необходимость в ряде случаев переходных ступеней, ведущих к ней. Следовательно, само становление коммунистической формации включает в себя внутренний и международный аспекты. Она начинается с одновременного утверждения социализма и коммунизма в границах отдельных государств и завершается созданием высших коммунистических форм человеческого общежития, которое не будет знать сначала государственных, а значительно позже и национальных различий.

С момента превращения социализма в мировую систему реальный социализм выступает и как уклад общественной жизни внутри отдельных стран и как новый тип межгосударственных отношений между этими странами. С этого периода история становления коммунистической формации представляет собой двуединый процесс развития реального социализма и как общественного строя, и как мировой системы. В первом случае прогресс социализма определяется глубиной социалистических преобразований в национально-государственных рамках, во втором — интернационализацией производства и всей общественной жизни в международном масштабе. Первые начинаются раньше вторых.

Поскольку в основе социализма как общественного строя лежат первичные экономические отношения, т. е. производственные отношения в узком смысле слова, то утверждение и развитие социализма как общественного строя в основе своей определяется закономерностями развития социалистического способа производства, повторяющимися в каждой стране, вступившей на путь социализма. Что же касается социализма как мировой системы, то в этом случае речь идет о совокупности общественных отношений, складывающихся между странами, в которых утвердилась социалистическая общественная форма. При этом, на нынешнем уровне развития производительных сил, социализм как мировая система мыслим только в условиях суверенных стран. Отношения между ними — это еще не производственные отношения в узком смысле слова, ибо в рамках мировой системы социализма отсутствует единое производство и единое распределение материальных благ. А поскольку это так, то в основе социализма как мировой системы лежат вторичные экономические отношения. Мировая социалистическая система и ее ядро — социалистическое

содружество — интернациональное объединение национальных и многонациональных самостоятельных социалистических государств, имеющих собственную территорию, сбалансированную экономику, индивидуальную политическую организацию. И хотя в мировой системе действуют закономерности, не имеющие аналога в развитии социализма как общественного строя, они являются объективными. Они не зависят от воли и желания людей. Люди не могут их отменить или изменить, но люди могут затормозить либо усилить действие этих закономерностей. Поэтому в развитии мировой системы социализма важное значение приобретает сознательная деятельность людей, направленная на приспособление развития каждой страны к требованиям объективных закономерностей. Этот процесс успешно реализуется в социалистическом содружестве.

Объективная потребность во все большем сближении социалистических стран, вытекающая из самой сути социализма, проявляется, с одной стороны, в усилении национальной экономики, государственности и культуры, а, с другой стороны, во все большем сотрудничестве, упрочении взаимосвязей социалистических стран. С действием этой объективной закономерности связано основное противоречие мировой системы социализма — противоречие между интернациональным и национальным.

В трудах К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина проводится мысль о том, что в основе превращения взаимосвязей между странами в единый хозяйственный организм лежит интернационализация производительных сил, разрушающая национально-государственную замкнутость.

В русле действия объективной потребности ко все большему сближению лежат как принципы социалистического интернационализма, соблюдение которых обеспечивает наиболее благоприятные условия для внутреннего социалистического развития каждой страны, так и общедемократические принципы, обеспечивающие независимость, территориальную целостность, невмешательство во внутренние дела друг друга, взаимную выгоду. Органическое и правильное сочетание и взаимодействие этих принципов обеспечивает успешное развитие каждой страны социалистического содружества. При этом В. И. Ленин, указывая на взаимосвязь интернационального и национального, подчеркивал первостепенную важность борьбы за общие интересы, призывал «...думать не о своей только нации, а выше ее ставить интересы всех, их всеобщую свободу и равноправие [...] бороться *против* мелконациональной узости, замкнутости, обособленности, за учет целого и всеобщего...» [1, т. 30, с. 44—45].

В основе закономерности, отражающей тенденцию ко все большему сближению и порождаемого ею противоречия в развитии социалистического содружества, лежит объективная основа поступательного развития национальных производительных сил. Действие этой закономерности, с одной стороны, усиливает концентрацию и централизацию производительных сил и тем самым углубляет консолидацию общественных отношений в национально-государственных рамках, а, с другой стороны, обуславливает все большую интернационализацию производительных сил и тем самым ведет к росту связей, углублению сотрудничества социалистических стран, к расширению их кооперации в международном масштабе. На определенной ступени развивающиеся национальные производительные силы во все большей степени интернационализируются. Действие этой закономерности и порождаемого ею противоречия в развитии мировой системы социализма будет проявляться до тех пор, пока мировая система социализма будет пополняться все новыми странами с неодинаковым уровнем развития производительных сил. Одновременно, по мере развития производительных сил, во все большей степени будет происходить усиление тенденции к интернационализации производительных сил и всей общественной жизни. Не исключено в будущем и существование групп коммунистических и социалистических государств.

Действие закономерности, ведущей ко все большему сближению стран социализма, отражает потребности долгосрочных целей межнационального развития мировой социалистической системы и ее ядра — социалистического содружества. В этом плане можно выделить три основных аспекта:

увеличение сходства и подобия внутреннего развития; усиление взаимной адаптации этих стран в межгосударственном сожительстве; возрастание коллективного единения на основе все большего сотрудничества с перспективой превращения социалистического содружества в нерасторжимую международную целостность. В этой связи В. И. Ленин обращал внимание на необходимость поддерживать «...все, помогающее стиранию национальных различий, падению национальных перегородок, все, делающее связи между национальностями теснее и теснее...» [1, т. 24, с. 133]. Одновременно он предостерегал от поспешности в этом деле, подчеркивая, что «...тут нельзя действовать по одному шаблону», так как «...разные нации идут одинаковой исторической дорогой, но в высшей степени разнообразными зигзагами и тропинками, и что более культурные нации идут заведомо иначе, чем менее культурные» [1, т. 38, с. 184], что братский союз равноправных наций «...нельзя осуществить сразу; до него надо доработаться с величайшей терпеливостью и осторожностью, чтобы не испортить дело, чтобы не вызвать недоверия, чтобы дать изжить недоверие...» [1, т. 40, с. 43]. И, хотя ленинские высказывания относятся к межнациональному сотрудничеству в рамках одного государства, в них, однако, содержится ключ к основополагающим отношениям в рамках социалистического содружества.

Мировая социалистическая система не выступает как единое целое, а как сообщество однотипных социалистических стран с полностью присущим им суверенитетом. В то же время, будучи сообществом однотипных стран, она не представляет собой сообщество одинаковых стран. В нее входят страны, занимавшие в прошлом неодинаковое место в капиталистической системе, с различным уровнем экономического и политического развития. В силу этого социалистическое строительство, которое они осуществляют в национально-государственных рамках, опирается на неравные объективные возможности. Но эти страны могут опереться на братскую помощь в рамках социалистического интернационализма. В действие вступает закономерность выравнивания уровней развития этих стран. Действие этой закономерности связано, с одной стороны, с различием некоторых условий, сроков и темпов социалистического строительства, а, с другой стороны, с единством конечного результата этого строительства во всех социалистических странах. Объективно основа процесса выравнивания уровней развития кроется в развитии производства, в процессе которого страны, экономически менее развитые, продвигаются вперед более высокими темпами, чем страны более развитые. Выравнивание уровней и неравномерность развития диалектически взаимосвязаны.

Решающим критерием выравнивания уровней экономического развития является выравнивание общественной производительности труда, поскольку обмен результатами труда осуществляется на базе мировых цен, т. е. на основе закона стоимости с известной корректировкой. В этом случае менее развитые страны оказываются в положении, при котором их товары содержат больше национального труда, чем у более развитых. Это обстоятельство служит важнейшим стимулом для экономического и научно-технического прогресса. Иначе говоря, решающим критерием выравнивания уровней экономического развития социалистических стран является выравнивание общественной производительности труда. В свою очередь, выравнивание уровней производительности труда является необходимой предпосылкой окончательного становления коммунистической формации.

Проект новой редакции Программы КПСС подчеркивает: чем выше и чем ближе уровни общественного развития социалистических стран, тем больше и глубже их сотрудничество, тем органичнее процесс их сближения.

Взаимоотношения стран социалистического содружества представляют собой новый тип отношений, складывающихся и развивающихся на основе принципов марксизма-ленинизма и социалистического интернационализма, при полном использовании норм международного права.

Процесс складывания отношений нового типа, их перехода в более зрелые формы находится в начальной стадии, хотя и достиг значительного прогресса. Совместно координируемая и проводимая внешняя политика стран социалистического содружества носит классовый характер. В проекте новой редакции Программы КПСС отмечается, что это содружество — авторитетнейшая сила современности, без которой не может быть решен ни один вопрос мировой политики: это прочный оплот мира на земле, самый последовательный защитник здоровых, мирных, демократических начал в международных отношениях, главное препятствие на пути империалистической реакции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ленин В. И. Полн. собр. соч.



ИСКОЛЬДСКИЙ А. И.

РАБОЧИЙ КЛАСС ЮГОСЛАВИИ В ГОДЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

К середине 60-х годов народы Югославии добились заметных успехов в строительстве нового, социалистического общества. Характер преобразований, осуществленных за первое послевоенное двадцатилетие в различных областях социально-политической и хозяйственной жизни страны, позволяет сделать вывод о том, что именно в этот период в основном успешно, хотя и в весьма специфических формах, был решен целый комплекс задач, связанных с созданием и упрочением материальных основ социализма и социалистической индустриализацией.

Дореволюционная Югославия, несмотря на значительный природный потенциал, по уровню развития своих производительных сил занимала одно из последних мест в Европе. Процесс модернизации экономики страны в межвоенный период осуществлялся чрезвычайно медленными темпами, что во многом обуславливалось особенностями ее исторического развития в прошлом. Почти пятивековое турецкое иго, зависимость от Габсбургской монархии, экономическая замкнутость отдельных регионов страны и их разобщенность серьезно препятствовали формированию здесь капиталистических отношений.

Первыми из всех югославских земель на путь индустриального развития вступили входившие в состав Австро-Венгрии Хорватия и Словения. В последней четверти прошлого века там уже имелись предприятия текстильной, кожевенной, пищевой, цементной, деревообрабатывающей и некоторых других отраслей промышленности. Несколько позже стало зарождаться промышленное производство в Сербии и в Боснии и Герцеговине. Что же касается Черногории и Македонии, то применительно к ним весьма трудно говорить о какой-либо индустриальной ориентации вплоть до 50-х годов нынешнего столетия.

Подобная разноплановость в хозяйственном развитии отдельных районов и областей Югославии способствовала возникновению колоссальных региональных диспропорций. В 1918 г. в момент образования единого Королевства сербов, хорватов и словенцев на долю Сербии вместе с Воеводиной приходилось около 35% промышленного производства, Хорватии — 30, Словении — 24, Боснии и Герцеговины — 8,3, Македонии — 1,4, Черногории — 0,5 и на остальные районы — 0,8% [1, с. 25]. Вплоть до кануна второй мировой войны ситуация не претерпела существенных изменений. Так, если в 1938 г. на каждую тысячу жителей в Словении приходилось в среднем 57 рабочих мест в промышленности, то в Черногории — всего 1 [2, с. 60].

В условиях буржуазного строя ликвидация региональных, равно как и межотраслевых диспропорций, решение множества других экономических проблем было затруднено не только из-за консерватизма правящих кругов самой Югославии, но и в связи с постоянным вмешательством в ее внутренние дела крупнейших империалистических держав. Обладая запа-

сами стратегического сырья, значительными энергетическими ресурсами, страна привлекала постоянное внимание со стороны зарубежного капитала. Смыкавшиеся с ним крупная национальная буржуазия и государственный аппарат во многом способствовали захвату ключевых позиций в югославской экономике крупнейшими компаниями Швейцарии, Англии, Франции, США, Германии и других империалистических держав. Иностраный капитал полностью контролировал добычу меди, свинца и бокситов, в его руках находились контрольные пакеты акций угольных, гидроэнергетических, металлургических и ряда других предприятий страны.

Односторонний характер югославской экономики, предопределявший ее интересами империалистических держав, заметно сдерживал развитие производительных сил молодого государства. В межвоенный период среднегодовые темпы роста промышленного производства в Югославии не превышали 2,0—2,2% [3, с. 461]. Основные мощности югославской индустрии тех лет были загружены, главным образом, переработкой сельскохозяйственной продукции и первичной обработкой сырья, предназначенного на экспорт. Практически в зачаточном состоянии находились столь важные отрасли промышленности, как машиностроение и металлообработка, не говоря уже о других прогрессивных отраслях.

Экономическая отсталость и сохранение в ряде случаев системы полуфеодалных отношений в деревне обуславливали и низкую продуктивность сельского хозяйства страны. В 1931 г. здесь насчитывалось примерно столько же крестьянских хозяйств, сколько и во всех государствах Латинской Америки вместе взятых [4, с. 12], причем более $\frac{2}{3}$ составляли мелкие наделы, не превышавшие 5 га [5, с. 33—34]. Поэтому вплоть до начала второй мировой войны в сельском хозяйстве Югославии доминирующую роль играл мелкотоварный сектор.

Аграрной направленностью развития экономики (в конце 30-х годов в структуре национального дохода на долю сельского хозяйства приходилось 44,3%, а промышленности — всего 26,8% [2, с. 13]) определялись и основные сдвиги в социальной структуре югославского общества. По данным переписи 1921 г. аграрии составляли около 80,4% самостоятельного населения страны, тогда как удельный вес работников, занятых в промышленности и ремесленном производстве, согласно оценкам югославских авторов, не превышал 8,6% [5, с. 6]. На рубеже 20-х годов численность производственного персонала капиталистических предприятий ограничивалась примерно 25 тыс. человек [3, с. 419]. В среднем на каждом югославском предприятии в тот период было занято не более 83 рабочих [3, с. 419].

В дальнейшем крестьянство продолжало оставаться одной из наиболее представительных социальных групп югославского общества. Перед войной работники сельского хозяйства вместе с членами их семей составляли 74,4% населения страны [6, с. 62]. Количественный же рост пролетариата был весьма незначителен. В межвоенный период в среднем ежегодно в его ряды вливалось всего около 8,9 тыс. человек [3, с. 419]. С 1931 по 1941 г. в югославской промышленности трудоустроилось лишь 190 тыс. человек, т. е. не более 10% от общего естественного прироста населения [6, с. 64]. В итоге накануне второй мировой войны в стране, число жителей которой приближалось к 16 млн человек, насчитывалось всего 380 тыс. промышленных рабочих, 55 тыс. работников, занятых в горнорудных отраслях, и около 240 тыс. ремесленников [7, с. 84—85]. Иными словами, на долю рабочего класса в тот период приходилось примерно 5% экономически активного населения.

Как известно, вторая мировая война нанесла колоссальный ущерб народному хозяйству Югославии. Почти полному разрушению было подвергнуто около $\frac{2}{3}$ промышленных мощностей страны, уничтожено 75% гидроэлектростанций, 32% предприятий строительной промышленности, 21% — химической и 18% — металлообрабатывающей индустрии. Значительный ущерб был нанесен железнодорожному и водному транспорту, более чем на 25% сократился жилищный фонд [7, с. 83]. Разорению подверглось сельское хозяйство, в первую очередь животноводство.

В годы войны Югославия потеряла около 10,8% населения, т. е. каждого своего десятого гражданина. В борьбе с оккупантами погибло свыше 40 тыс. специалистов народного хозяйства, врачей, учителей и т. д. и более 90 тыс. квалифицированных промышленных рабочих [8, с. 103].

Таким образом, сразу же после победы революции и провозглашения Федеративной Народной Республики Югославии перед югославскими трудящимися была поставлена задача скорейшего восстановления народного хозяйства. Уже в течение 1945 г. в стране почти полностью были восстановлены предприятия электротехнической, металлообрабатывающей, пищевой, текстильной, кожевенной, строительной и других отраслей промышленности. Упрочению позиций народной власти способствовало проведение аграрной реформы и завершение процесса национализации, начатой еще в годы героической народно-освободительной войны.

В апреле 1947 г. ценой поистине героических усилий трудящихся Югославии при помощи и поддержке Советского Союза был перекрыт по целому ряду важнейших показателей предвоенный уровень развития экономики. Народная скупщина ФНРЮ утвердила закон о первом пятилетнем плане на 1947—1951 гг. В ходе его выполнения основное внимание в области экономической политики было уделено проблемам индустриализации, созданию энергетической базы народного хозяйства, преодолению региональных диспропорций в развитии отдельных краев и республик федерации.

Рост материальной базы социализма уже в годы первых пятилеток обуславливал достаточно быстрое превращение Югославии из отсталой, сугубо аграрной страны в среднеразвитое индустриально-аграрное государство. Действительно, динамичное развитие югославской экономики на протяжении второй половины 40-х — начала 60-х годов обеспечило увеличение национального дохода ФНРЮ почти в 3,4 раза, сопровождавшееся существенными сдвигами в его структуре. Так, если в 1947 г. доля промышленности, транспорта и строительства не превышала в нем 43%, то спустя 17 лет она возросла до 61%, удельный же вес сельского хозяйства сократился почти вдвое и составлял лишь 20% [9, с. 80].

При проведении индустриализации в Югославии (как и в большинстве других европейских социалистических государств) был провозглашен курс на развитие базисных отраслей. Только в период 1953—1963 гг. на долю промышленности, транспорта и строительства в среднем ежегодно здесь приходилось около 57,2% всех валовых капиталовложений [9, с. 80], благодаря чему основные фонды промышленности увеличились в 3,5 раза [2, с. 57]. Опережающими темпами в стране развивались отрасли тяжелой индустрии — к 1964 г. производство средств производства возросло по сравнению с 1939 г. в 25 раз, а предметов потребления — в 6,6 раза [2, с. 52].

Определенными достижениями характеризовалось и послевоенное развитие сельского хозяйства. Уже к 1964 г. объем сельскохозяйственной продукции в СФРЮ увеличился по сравнению с 1939 г. на 166% [2, с. 7]. К тому времени на долю общественного сектора в сельском хозяйстве приходилось около 40% производства всей товарной продукции, что свидетельствовало об успешном развитии качественно новых отношений в югославской деревне [2, с. 16].

Осуществление социалистических преобразований в народном хозяйстве Югославии вело к коренным изменениям в социальной структуре югославского общества. Уже к 1948 г. доля капиталистических элементов города и деревни в создании национального дохода страны сократилась до 4,4% [2, с. 16]. По сути дела, в конце 40-х годов югославская буржуазия прекратила свое существование как класс, а частный сектор в экономике федерации был ограничен ремесленничеством и сельским хозяйством.

В то же время в течение всех лет народной власти в Югославии наблюдался постоянный рост численности лиц, занятых в общественном секторе народного хозяйства. Несмотря на то, что в первые годы после освобождения число занятых в государственном секторе югославской экономики

Динамика численного роста и изменения удельного веса рабочего класса Югославии в общей структуре рабочих и служащих *

	1948	1952	1955	1957	1960	1963
Число рабочих и служащих, занятых в народном хозяйстве (в тыс.)	1517	1734	2215	2392	2972	3390
Численность рабочего класса (в тыс.)	981	1069	1470	1681	2167	2573
Доля рабочего класса в общей структуре занятых в народном хозяйстве (в %)	64,7	61,6	66,4	70,3	72,9	75,9

* Таблица составлена на основании данных, опубликованных в [9, s. 58; 10, 1954, s. 100; 1956, s. 77; 11, s. 19; 10, 1961, s. 88; 1965, s. 96].

было ниже довоенного уровня в целом, уже к 1948 г. этот уровень в значительной степени был превзойден. В дальнейшем под влиянием индустриализации в стране определилась совершенно четкая тенденция к неуклонному увеличению численности рабочих и служащих. На протяжении 1948—1963 гг. их общее число возросло с 1 млн 517 тыс. до 3 млн 390 тыс. человек, т. е. более чем в 2,2 раза [10, 1954, s. 100; 1956, s. 359]. Этому в значительной степени способствовала государственная политика, ориентировавшая промышленную базу на экстенсивное развитие.

Одним из наиболее динамичных (по количественному росту и качественным изменениям) отрядов югославских трудящихся в тот период был рабочий класс (табл. 1).

Как явствует из таблицы, в годы создания материальных основ социализма темпы численного роста рабочего класса ФНРЮ заметно превышали темпы роста всех остальных групп занятых в общественном секторе югославской экономики. Так, если к 1963 г. общая численность рабочих и служащих народного хозяйства страны увеличилась по сравнению с 1948 г. на 223,5%, то численность рабочего класса возросла на 262,3%.

Эти данные позволяют сделать вывод о том, что на стадии проведения социалистической индустриализации воспроизводство рабочего класса происходило не только на собственной основе, но в первую очередь за счет внешних источников пополнения. Одним из главных источников такого рода на протяжении всего рассматриваемого периода в Югославии, как и в ряде других европейских социалистических государств, было крестьянство.

В послевоенные годы во всех краях и республиках страны наблюдалось абсолютное сокращение сельскохозяйственного населения. Нельзя сказать, что определенное перераспределение рабочей силы между городом и деревней не происходило в межвоенный период. Однако оно было весьма незначительным. Достаточно отметить, что с 1921 по 1939 гг. удельный вес аграриев в общей массе югославских граждан сократился с 78,8% до 75,1, т. е. всего на 3,7% [12, № 29/30, s. 8].

В условиях индустриализации традиционная экономическая отсталость югославской деревни, аграрная перенаселенность, а в дальнейшем и механизация сельского хозяйства в значительной мере обуславливали явление, образно названное югославскими социологами «бегством из сел». Уже в первые годы народной власти в среднем ежегодно сельскую местность покидало около 1,7% крестьян в Словении, 1,5 — в Хорватии, 1,3 — в Боснии и Герцеговине, 1,2% — в Черногории и т. д. [13, s. 8].

После 1953 г. сокращение абсолютной численности аграриев, их удельного веса в общей структуре населения происходило еще более быстрыми темпами (табл. 2).

По мнению югославских исследователей, в период с 1948 по 1961 г. численность крестьян, трудоустроившихся во внесельскохозяйственных отраслях экономики, составила около 2 млн 848 тыс. человек [12, № 27/28, s. 14]. Это не означает, что все они переселились в города, т. е. бесповоротно порвали свои связи с аграрной средой. Данные переписей 1953 и

Сокращение аграрного населения в ФНРЮ (1953 — 1961) *

Республики	Сельскохозяйственное население (в тыс.)		% от общей численности населения	
	1953 г.	1961 г.	1953 г.	1961 г.
Югославия	10 340	9304	60,8	50,2
Босния и Герцеговина	1770	1668	62,2	50,9
Черногория	258	226	61,5	47,9
Хорватия	2220	1849	56,4	44,4
Македония	817	728	62,7	51,8
Словения	617	506	41,0	31,8
Сербия	4675	4330	66,7	56,7

* Источник: [13, с. 9].

1961 гг. показывают, что за это время из деревни в город перебралось всего от 666 тыс. до 733 тыс. человек [14, с. 84]. Иными словами, основная масса пополнения занятого во внесельскохозяйственной сфере трудового контингента — от 60,0% до 63,4% — не сменила места жительства. По сути дела, это были рабочие-крестьяне или служащие-крестьяне.

Сам по себе данный факт весьма показателен. Однако неразрывную связь рабочего класса Югославии с крестьянством подтверждают не только материалы переписей населения, но и результаты конкретных социологических исследований. Так, сотрудниками Отдела социологии Белградского института общественных наук при обследовании 5 тыс. рабочих, трудившихся на промышленных предприятиях в различных краях и республиках федерации, проведенном в 1960 г., было установлено, что 48,1% опрошенных являлись выходцами из крестьянских семей, но постоянно жили в городах, 34,8% родились в сельских местностях, где и проживали в момент обследования, и лишь 11,6% вели свое происхождение из городских слоев [15, с. 63].

Вторым, не менее важным по своей социальной и экономической значимости источником пополнения рабочего класса являлась женская часть населения страны. Уже к середине 60-х годов доля женщин в структуре занятых в общественном секторе народного хозяйства СФРЮ возросла до 30,8% [10, 1971, с. 347]. Они составляли основной костяк — около 64% персонала текстильной промышленности, примерно половину работников полиграфической и табачной индустрии [16, с. 10—11]. Достаточно широко женщины были представлены и в других отраслях югославской экономики.

Вместе с тем в годы индустриализации вовлечение женщин в общественное производство Югославии было сопряжено и с некоторыми трудностями. Как отмечалось на VIII съезде Союза коммунистов Югославии (1964), в силу общей культурной отсталости и определенных национальных традиций «общественное положение женщины было и остается одной из весьма сложных проблем нашего общества» [17, с. 309]. Поэтому вплоть до середины 60-х годов в стране сохранялся весьма многочисленный контингент трудоспособных женщин, не участвовавших в общественном производстве.

Несколько меньшую роль в пополнении рабочего класса на первых этапах социалистического строительства играли молодые выходцы из рабочих семей — потомственные рабочие. Учитывая масштабы миграции деревня — город, с полной уверенностью можно сказать, что с конца 40-х и до начала 60-х годов они в основном терялись в массе вчерашних крестьян.

Интенсивное вовлечение в состав рабочего класса представителей других социальных групп населения в сочетании с необходимостью модернизации экономики ставило перед партийным и государственным руководством СФРЮ целый ряд задач, связанных с формированием национальных

кадров для народного хозяйства страны. Практика показывает, что к середине 60-х годов в этой области были достигнуты определенные успехи. Однако, как отмечалось в материалах пятилетнего плана на 1966—1970 гг., в тот период квалификационная структура югославских трудящихся все еще не соответствовала ни уровню развития производства, ни потребностям развития хозяйственной системы федерации [18, с. 42].

Одним из самых серьезных препятствий на пути профессионального роста и улучшения квалификационной структуры рабочего класса Югославии являлись не только экономические трудности, имевшие место прежде всего на начальной стадии индустриализации, но и наличие в составе лиц, занятых в общественном секторе народного хозяйства, значительного числа неграмотных. По данным переписи 1948 г. число неграмотных в стране превышало 3 млн человек. Среди них на долю молодежи в возрасте от 15 до 29 лет приходилось около 13,7%. Таким образом, около 580 тыс. молодых граждан федерации относились к категории неграмотных [10, 1954, с. 60—61]. Следует отметить, что уже в годы первой пятилетки свыше 2 млн югославов научились читать и писать [19, 1963, № 2, с. 75]. Но, по мнению югославских специалистов, примерно 70% от этого числа к началу 60-х годов утратили свои знания [20, с. 744].

Столь очевидный регресс, как считает большинство югославских авторов, в основном был вызван неразработанностью системы народного просвещения. Несмотря на то, что с октября 1946 г. в стране действовал Закон об обязательном семилетнем образовании, еще в середине 50-х годов начальным образованием было охвачено лишь 76,3% лиц соответствующих возрастов [21, с. 12]. В результате, как показала перепись 1961 г., 19,7% жителей ФНРЮ в возрасте старше 10 лет не умели ни читать, ни писать [21, с. 12], а общеобразовательный уровень 72,9% граждан федерации не превышал восьми классов [10, 1965, с. 100].

Низкий общеобразовательный уровень характеризовал и рабочий класс Югославии. В начале 60-х годов его основу составляли работники, в лучшем случае закончившие 4—6 классов. В промышленности, например, в 1963 г. 6,8% всех занятых не имели школьного образования, лица, не доучившиеся до четвертого класса, составляли 3,5%, а имевшие четырехклассное образование — 42,6%. Еще ниже был общеобразовательный уровень строителей: соответственно — 9,9%; 3,3 и 57,2% [10, 1965, с. 100]. Неграмотность среди рабочих также не была исключительным явлением. Только в одном Белграде в тот период насчитывалось свыше 65 тыс. неграмотных представителей рабочего класса, около 4,4 тыс. — в Зенице, 1,4 тыс. — в Трпече [19, 1963, № 2, с. 80]. Естественно, это служило сдерживающим фактором в повышении профессионального мастерства югославских трудящихся.

По мнению авторитетных югославских исследователей, сложности в области подготовки промышленных кадров во многом объяснялись и неэффективностью курса, провозглашавшегося в ходе учебных реформ 1956 и 1958 гг. В процессе перестройки системы народного просвещения и профессионально-технического образования ряд функций по регулированию учебного процесса в конце 50-х годов был передан в ведение местных властей, которые, как считалось, имели более конкретные представления о кадровых потребностях народного хозяйства. Этот шаг наряду с перенесением основных обязательств по материальному обеспечению учебных заведений с союзного и республиканского бюджетов на бюджеты местных органов ставил систему общей и профессиональной подготовки трудящихся в прямую зависимость от особенностей регионального развития федерации, что нарушало единообразие учебного процесса и порождало, как отмечали югославские исследователи, «территориальную замкнутость учебных заведений» [19, 1966, № 11, с. 417].

Подобные меры во многом способствовали формализации отношений в области формирования кадров экономики ФНРЮ. Как отмечалось на одном из заседаний Президиума Центрального веча Союза профсоюзов Югославии уже в начале 1966 г., это вело к тому, что на протяжении ряда лет вопрос о повышении профессионального уровня югославских трудя-

Изменение квалификационной структуры рабочего класса ФНРЮ в 1952—1963 гг. (в %) *

Категории рабочих	1952	1957	1960	1963
Высококвалифицированные	1,5	8,2	9,7	8,2
Квалифицированные	33,5	35,8	36,0	35,9
Обученные	25,6	24,0	24,3	20,5
Неквалифицированные	39,4	32,0	30,0	35,4

* Таблица составлена на основании данных, опубликованных в [10, 1954, с. 100; 11, с. 19, 25; 10, 1961, с. 88; 1965, с. 99].

Таблица 4

Изменения в отраслевой структуре занятых в народном хозяйстве Югославии 1952—1963 гг. (в %) *

Отрасли	1952	1955	1957	1960	1963
Промышленность	8,5	11,0	12,6	15,3	17,3
Строительство	3,3	4,5	3,8	4,5	4,7
Транспорт и связь	2,1	2,3	2,4	2,8	3,3
Ремесла	3,3	3,7	4,0	4,7	4,7
Торговля и общественное питание	2,4	2,9	3,1	3,6	4,4
Сельское и лесное хозяйство	80,4	75,6	74,1	69,1	65,6

* Источник: [24].

щихся «трактовался лишь в качестве фактора, обеспечивающего лучшую перспективу для молодых поколений», а не как обязательное условие успешного развития народного хозяйства [22].

Но несмотря на все имевшиеся противоречия и трудности, в годы социалистической индустриализации в Югославии были заложены прочные основы системы подготовки рабочих кадров. Вскоре после победы революции в стране стали создаваться курсы по приобретению квалификации, которые действовали как на базе стационарных учебных заведений, так и непосредственно на отдельных предприятиях. В последующий период в различных краях и республиках ФНРЮ наряду с развитием системы ученичества на производстве были созданы всевозможные типы учебных заведений, где трудящиеся могли получать специальность или повышать свой профессиональный уровень. Среди них следует назвать профессионально-технические училища, школы мастеров, высшие рабочие школы и, наконец, рабочие университеты. О роли и значении последних красноречиво свидетельствует тот факт, что в период 1956—1961 гг. свыше 80% их слушателей приобрели высшую производственную квалификацию [23, с. 17].

В результате этого в Югославии на протяжении всех лет социалистической индустриализации отмечались положительные сдвиги в квалификационной структуре рабочего класса (табл. 3).

Анализируя приведенные данные, можно заключить, что в рассматриваемый период темпы социальных перемещений, происходивших в масштабах всего югославского общества, были заметно выше темпов развития системы профтехобразования. Поэтому вплоть до 1963 г. наибольший удельный вес в общей структуре рабочего класса имели неквалифицированные рабочие. Но в этом вопросе Югославия не представляет исключения из общего правила. На стадии осуществления социалистической индустриализации сходные показатели характеризуют квалификационную структуру рабочего класса и ряда других государств Центральной и Юго-Восточной Европы.

В то же время сопоставление абсолютных данных показывает, что хотя в период 1952—1963 гг. доля работников высшей квалификации возросла с 1,5% до 8,2, т. е. на 6,7%, их численность увеличилась в 13,2 раза. Примерно втрое увеличился и численный состав квалифицированных рабочих, тогда как численность обученных и неквалифицированных возросла в два раза. Эти факты достаточно четко указывают на тенденцию к повышению профессионального уровня рабочего класса Югославии, обусловленную, в первую очередь, общей модернизацией народного хозяйства федерации и непосредственным усложнением самих производственных процессов.

Одним из главных социально-экономических последствий проведения социалистической индустриализации явилось определенное перераспределение трудящихся ФНРЮ между различными отраслями югославской экономики. Динамика этого процесса хорошо прослеживается на основании материалов табл. 4.

Структурная перестройка народного хозяйства ФНРЮ, проводимая в ходе социалистических преобразований, постоянно оказывала самое непосредственное влияние не только на развитие отдельных отраслей югославской экономики, но и на количественные сдвиги в отраслевых отрядах рабочего класса федерации. Наиболее характерные изменения происходили в отраслевой структуре основного ядра рабочего класса — промышленных рабочих. Только за период 1952—1963 гг. их численность возросла более чем в два раза, т. е. до 1 млн человек [10, 1954, с. 99].

Количественное увеличение рабочих индустрии примерно на $\frac{1}{3}$ было обеспечено ростом занятости в электроэнергетике, металлообрабатывающей, нефтяной, химической, судостроительной и электротехнической промышленности. Иными словами, речь идет об отраслях, базирующихся на использовании современных видов энергии, сырья и оборудования, т. е. непосредственно связанных с достижениями науки и техники и определяющих экономический прогресс.

В то же время по мере наращивания индустриального потенциала в отраслевой структуре рабочего класса югославской промышленности происходило постоянное сокращение доли работников, занятых в наименее технически оснащенных, традиционных отраслях. Так, если в начале 50-х годов самым представительным, в численном отношении, подразделением промышленного пролетариата ФНРЮ были рабочие деревообрабатывающей индустрии, то уже к 1963 г. их удельный вес сократился с 21,1% до 11,1% [10, 1954, с. 100; 1965, с. 99]. На этом этапе с 13,1% до 7,1% уменьшилась доля работников угольной промышленности, наметилась тенденция к замедлению темпов роста занятости на кожевенно-обувных и некоторых ремесленных предприятиях [10, 1954, с. 100; 1965, с. 99].

Подобная, если можно так выразиться, перегруппировка сил, способствовала заметной консолидации рабочего класса федерации в наиболее перспективных, исходя из интересов дальнейшего социалистического строительства, отраслях индустрии. Так, к 1963 г. удельный вес рабочих металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности возрос по сравнению с началом 50-х годов с 10,5 до 17,3%; доля занятых в производстве электротехнического и электронного оборудования увеличилась с 1,6 до 4,4%; вдвое, т. е. до 3,8%, — работников химических предприятий и т. д. [10, 1954, с. 100; 1965, с. 99].

Реализация курса на формирование и развитие современной промышленности, провозглашенного в первые годы народной власти, вела не только к перестройке макроструктуры экономики ФНРЮ, но и обеспечивала создание в стране высококонцентрированного промышленного производства. В годы индустриализации в Югославии было положено начало процессу концентрации рабочего класса на крупных, оснащенных передовой техникой и отличавшихся сложной организацией труда предприятиях (табл. 5).

Вовлечение рабочего класса в крупное машинное производство, прихитившее на смену полукустарным, ремесленным мастерским, составлявшим основу промышленности довоенной Югославии, служило

Концентрация рабочего класса на промышленных предприятиях ФНРЮ.
1953 — 1963 гг. (в %) *

Годы	Численность занятых на предприятиях							
	До 15 чел.	16—30 чел.	31—61 чел.	61—125 чел.	126—250 чел.	251—500 чел.	501—1000 чел.	Свыше 1000 чел.
1953	13,2	11,8	18,6	21,4	15,0	10,3	5,6	4,1
1963	2,0	3,3	8,1	18,5	23,2	20,7	12,4	11,8

* Таблица составлена на основании данных, опубликованных в [10, 1954, с. 119; 1965, с. 176].

Таблица 6

Распределение югославских трудящихся в соответствии с размерами их заработной платы (в %) *

Годы	Размеры заработной платы, в тыс. динаров			
	ниже 25	25—40	40—60	Свыше 60
1961	68,5	23,4	6,5	1,6
1962	61,2	28,6	8,3	1,9
1963	47,1	35,1	13,0	3,8
1964	22,6	43,5	24,4	9,5

* Источник: [9, с. 61].

важнейшим фактором в изменении социального облика данной категории трудящихся. Концентрация производства способствовала развитию классового самосознания югославских рабочих, лучшему усвоению текущих и перспективных задач социалистического строительства, была одной из главных предпосылок повышения их общественно-политической и трудовой активности.

Упрочение роли рабочего класса в процессе общественного производства, совершенствование его внутренней структуры в сочетании с общим подъемом производительных сил влекло за собой и целый ряд изменений в материальном положении тружеников народного хозяйства федерации.

Как уже говорилось выше, вторая мировая война нанесла огромный ущерб экономике Югославии. Восстановление народного хозяйства и связаный с этим рост доли накопления в национальном доходе, необходимость осуществлять высокие капиталовложения в индустрию, а также целая полоса засух и неурожаев в сочетании с другими серьезными экономическими трудностями вплоть до первой половины 50-х годов обуславливали некоторый застой в повышении материального благосостояния граждан ФНРЮ. Тем более, что почти для $\frac{3}{4}$ населения страны основным источником средств к существованию являлось экстенсивное, низкопродуктивное сельское хозяйство.

Но ликвидация эксплуататорских классов и изменение характера распределения национального дохода уже тогда в определенном смысле обусловили повышение уровня удовлетворения материальных и культурных запросов трудящихся.

После 1956 г. в Югославии наблюдался заметный рост заработной платы рабочих и служащих. В течение 1957—1962 гг. номинальная заработная плата занятых в народном хозяйстве увеличилась в среднем на 275%. Однако с учетом постоянного роста стоимости жизни реальные заработки в целом возросли примерно на 155%. У рабочих это увеличение было несколько ниже, соответственно— 262% и 147% [25, 1963, в. 9, с. 978]. Таким образом, среднегодовое увеличение реальной заработной платы в социалистическом секторе народного хозяйства составляло около 7%, тогда как темпы повышения производительности труда не превышали

5,5% [25, 1964, бр. 2, с. 129]. Подобное отставание темпов роста производительности труда от увеличения заработной платы югославские авторы объясняют тем, что ко второй половине 50-х годов в стране были созданы все условия для ускоренного повышения жизненного уровня ее граждан за счет сформированных ранее резервов.

Благодаря интенсивному росту заработной платы в первой половине 60-х годов в ФНРЮ произошло и заметное сокращение категории низкооплачиваемых рабочих и служащих (табл. 6).

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что приведенные выше данные далеко не полностью отражают положение дел в сфере повышения благосостояния югославских трудящихся. При рассмотрении этого вопроса следует иметь в виду, что после 1957 г. в ФНРЮ была отчасти упразднена централизованная система нормирования труда и заработной платы, а размеры последней, особенно после соответствующих реформ, проведенных в начале 1960-х годов во все большей степени зависели от объема прибыли, получаемой отдельными предприятиями и целыми отраслями на внутреннем и международном рынках. Как отмечают многие югославские экономисты, в условиях сохранения определенных региональных, внутри- и межотраслевых диспропорций это вело к тому, что повышение жизненного уровня работников народного хозяйства осуществлялось весьма дифференцированно.

Но несмотря на определенную дифференциацию в данной области, упрочение народно-демократического строя способствовало значительному росту материального благосостояния всех трудящихся республики. Только за период с 1953 по 1964 г. реальное потребление на душу населения в стране увеличилось на 84% [2, с. 241]. В структуре потребления семей югославских рабочих и служащих выявилась тенденция к повышению удельного веса товаров длительного пользования. С 1956 по 1963 г. объем потребляемой ими промышленной продукции возрос на 130%, в том числе: мебели — почти на 170; радиоприемников — на 210, домашней электроаппаратуры — на 750%. И если в 1956 г. на каждую тысячу жителей ФНРЮ приходилось около 40 радиоприемников, то к 1963 г. их количество возросло до 123 шт.; с 0,6 до 18 шт. увеличилось число холодильников; с 0,8 до 6 — легковых автомобилей. Только в течение 1963 г. в республике по сравнению с предыдущим годом удвоилась численность владельцев телевизоров и т. д. [25, 1964, бр. 4, с. 412].

В то же время в бюджете семей рабочих и служащих почти на 7% сократилась доля средств, идущих на продукты питания. Однако, как показывают расчеты специалистов, это не привело к абсолютному сокращению объема средств, выделяемых на питание, и не отразилось на калорийности потребляемой пищи [26].

Большое внимание в годы народной власти уделялось также вопросам улучшения жилищно-бытовых условий трудящихся. Лучшим показателем в этой области являлся постоянный рост жилищного строительства. Так, если в 1955 г. было сдано в эксплуатацию всего 17,6 тыс. квартир, то к 1959 г. их число увеличилось до 29 тыс. После жилищной реформы, проведенной на рубеже 60-х годов, в стране заметно расширился объем финансовых средств, выделявшихся на нужды бытового строительства. В 1959 г. их доля в общей структуре инвестиций составляла примерно 12,3%, а четыре года спустя она возросла уже до 16,1%. Благодаря этому только за 1961—1963 гг. югославские трудящиеся получили свыше 312,7 тыс. новых квартир [27, с. 278].

Однако необходимо сказать, что в годы индустриализации жилищный вопрос стоял перед рабочим классом ФНРЮ весьма остро. Видимо, этим объясняется постоянное увеличение категории рабочих-кредитов. Но несмотря на нехватку жилья, в бюджетах рабочих семей, судя по структуре потребления, неуклонно увеличивалась доля расходов на жилищно-коммунальные услуги [9, с. 254]. Как отмечалось на V съезде югославских профсоюзов (1964), расхождение в квартплате за равноценную жилую площадь, сданную в эксплуатацию с разницей в 2—3 года, зачастую достигало 40% [27, с. 282]. Подобные «ножницы» во многом были

следствием определенной коммерциализации жилищной политики, грозившей спадом жилищного строительства, что и произошло во второй половине 60-х годов [28, s. 34].

Важнейшую роль в повышении благосостояния югославских трудящихся играло развитие системы социального обеспечения и здравоохранения. Об этом, в первую очередь, свидетельствует постоянное увеличение числа граждан, охваченных деятельностью соответствующих служб, только в течение 1953—1957 гг. оно возросло с 4 млн 647 тыс. до 7 млн 920 тыс. человек [29, s. 19; 30, с. 23].

Успехи, достигнутые народами Югославии в проведении социалистической индустриализации, связанный с ней рост национального дохода страны способствовали постоянному повышению отчислений на социальные нужды. К 1962 г. их объем по сравнению с 1953 г. увеличился более чем в два раза и составлял около 200 млрд динаров [27, с. 294].

Уже в первое послевоенное двадцатилетие в ФНРЮ был достигнут весьма высокий уровень в развитии системы пенсионного обеспечения трудящихся. Так, если вскоре после победы революции в стране насчитывалось всего около 125 тыс. пенсионеров, то к 1964 г. их численность возросла до 800 тыс. Коренным образом изменился и состав лиц, получавших пенсии, — доля инвалидов войны, труда и от общих заболеваний сократилась с 43,2% до 35,6%, а удельный вес пенсионеров по старости увеличился с 15,2% до 36,1% [9, s. 285]. Данный факт достаточно четко отражал общее повышение жизненного уровня, улучшение условий быта и труда югославских граждан.

В целом действовавшее в сфере социального обеспечения законодательство в тот период отличалось рядом неоспоримых достоинств. К их числу, в первую очередь, следует отнести достаточно низкий пенсионный возраст — 55 лет для мужчин и 50 — для женщин при стаже соответственно в 35 и 30 лет [31, s. 9]. Весьма положительно можно охарактеризовать и саму систему начисления денежных выплат, при которой распределение страхователей по разрядам осуществлялось на основании так называемой депрессивной шкалы, подразумевавшей установление наиболее высоких, относительно заработной платы, размеров пенсий для наименее оплачиваемых категорий трудящихся [31, s. 31—36]. В условиях углубления дифференциации в денежных доходах населения, наблюдавшегося в Югославии с конца 50-х годов, использование подобных методов способствовало некоторому сглаживанию социально-экономических различий среди лиц, получавших средства к существованию из фондов общественного потребления.

Позитивной оценки заслуживает также многообразие видов социального обеспечения граждан, предусматривавшееся в пенсионном законе 1957 г., где наряду с пенсиями по старости, инвалидности и потере кормильца определялся широкий комплекс различных надбавок к пенсиям и единовременных пособий [31, s. 67—68, 104—105, 126—128, 129—132].

Сказанное выше не означает, что пенсионная система ФНРЮ не сталкивалась с проблемами, требовавшими своего разрешения. Действовавшее законодательство, в частности, оставляло открытым вопрос о материальном обеспечении отдельных категорий трудящихся, т. е. не носило всеобъемлющего характера. В нем, например, не учитывался трудовой стаж граждан, работавших в довоенный период в ремесленных отраслях, обслуживании, торговле и т. п. Следует отметить также, что поскольку в старой Югославии значительную массу пролетариата составляли занятые на кустарных и полукустарных предприятиях, неразработанность данного положения отрицательно сказывалась на жизненном уровне определенной части рабочих-пенсионеров [31, s. 26].

По мнению югославских правоведов, одним из явных недостатков социального обеспечения являлось и крайне неполное трактование вопроса о льготных условиях на получение пенсий. Некоторыми преимуществами в указанной области пользовались лишь четыре категории трудящихся — летчики, водолазы, шахтеры и кессонщики [31, s. 11]. Представители же других профессиональных групп, связанных с вредным для здоровья

производством, в тот период имели право на получение пенсий на общих основаниях.

К числу определенных упущений рассматриваемого законодательства следует отнести и ряд ограничений, касавшихся инвалидов от общих заболеваний. В частности, пенсии гарантировались исключительно инвалидам, имевшим определенный (как минимум пятилетний) трудовой стаж. Подобное условие ставило в сложное положение многих работников, преждевременно утративших трудоспособность, и особенно молодежь. Не совсем оправданной, очевидно, была и практика назначения инвалидных пенсий без учета группы инвалидности.

Определенный «консерватизм и недостроенность пенсионной системы», как отмечалось на страницах югославской печати тех лет, выражались также в постоянном отставании размеров пенсии от роста заработной платы и вытекавшем отсюда углублении различий между «старыми» и «новыми» пенсионными пособиями [25, 1964, № 11/12, с. 1213]. В обстановке инфляции отсутствие механизма регулярного подтягивания денежных доходов пенсионеров к постоянно повышавшемуся общему уровню заработков, равно как и формализация права выходящего на пенсию избирать для ее начисления наиболее благоприятные периоды вели, по выражению профсоюзных деятелей ФНРЮ, к постоянному «обесцениванию» пенсий.

Определенные и вполне объяснимые проблемы имелись также в развитии системы здравоохранения. Но в целом за годы народной власти в этой области был достигнут огромный прогресс. В стране постоянно расширялась сеть стационарных лечебных учреждений, амбулаторий и медпунктов непосредственно на промышленных предприятиях. По мере формирования материальной базы социализма в Югославии наблюдался рост численности и улучшения качества подготовки медицинского персонала, широким фронтом велась борьба со многими инфекционными заболеваниями, искоренялась детская смертность и т. д.

Все это создавало благоприятную почву для дальнейшего продвижения страны по пути строительства социализма, придавало трудящимся еще большую уверенность в будущем и способствовало всестороннему упрочению политических позиций рабочего класса в югославском обществе.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Zevković V., Novaković S.* Ekonomika Jugoslavije. Beograd, 1961.
2. *Кариня Л. Ф., Князев Ю. К., Тягуненко Л. В.* Экономика Югославии. М., 1966.
3. *Istorija Jugoslavije.* Beograd, 1972.
4. *Bilandžić D.* Historija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Glavni procesi. Zagreb, 1979.
5. *Marković M.* Ekonomska struktura Jugoslavije. Zagreb, 1952.
6. *Trideset godina Socijalističke Jugoslavije.* Beograd, 1975.
7. *Мулућ П.* Экономика ФНРЈ. Beograd, 1951.
8. *Мораћа П., Bilandžić D.* Avangarda. 1919—1969. Zagreb, 1969.
9. *Jugoslavija 1945—1964.* Beograd, 1965.
10. *Statistički godisnjak FNRJ.* Beograd.
11. *Statistički bilten.* Beograd, 1958, № 110.
12. *Sociologija sela.* Zagreb, 1970.
13. *Stanovništvo.* Beograd, 1964, № 1.
14. *Ginić J.* Dinamika i struktura gradskog stanovništva Jugoslavije. Beograd, 1967.
15. *Socijalna struktura i pokretljivost radničke klase Jugoslavije.* Beograd, 1963.
16. *Женщина в общественной и хозяйственной жизни.* Beograd, 1965.
17. *Практика и теория строительства социализма в Югославии.* Beograd, 1965.
18. *Društveni plan privrednog razvoja Jugoslavije od 1966 do 1970 godine.* Beograd, 1966.
19. *Jugoslovenski pregled.* Beograd.
20. *Gledišta.* Beograd, 1966, № 5.
21. *Bogdanov S.* Obrazovanje i naš društveno ekonomski razvoj. Beograd, 1966.
22. *Rad,* 1966, 18 III.
23. *Рабочие университеты.* Beograd, 1961.
24. *Marković B.* Kretanje narodnog dohotka, zaposlenosti i produktivnosti rada u privredi Jugoslavije. 1947—1967. Beograd, 1970, s. 28.
25. *Socijalna politika.* Beograd.
26. *Bekarić E.* Ekonomske probleme ishrane SFRJ. Beograd, 1964, s. 84—85.
27. *Жизненный уровень и общественное положение трудящихся.* Beograd, 1964.
28. *Актуелни проблеми привредног развоја и привредног система Југославије.* Zagreb, 1971.
29. *Treći kongres SSJ.* Beograd, 1965.
30. *Условия жизни и труда.* Beograd, 1959.
31. *Zakon o penzijskom osiguranju.* Beograd, 1961.



МАТВЕЕВ Г. Ф.

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ БОЛГАРИИ В 1878—1912 ГОДАХ

Развитие капитализма в Болгарии в конце XIX — начале XX в., его формы, масштабы и глубина проникновения в отдельные отрасли экономики были во многом обусловлены характером перехода страны от феодализма к капитализму. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. имела для Болгарии значение формационной буржуазно-демократической революции [1, с. 213], в результате которой был решен ряд чрезвычайно важных задач: создано независимое национальное государство, ликвидирован феодализм и все его социально-классовые институты, расчищена почва для свободного развития капиталистических отношений.

Капиталистические производственные отношения зародились в болгарских землях еще до освободительной войны. Процесс первоначального накопления капитала в первую очередь охватил ведущую отрасль экономики — сельское хозяйство [1, с. 188—189]; появляются рассеянная мануфактура и капиталистические фабрики. Но в целом преобладающие позиции сохраняло ремесленное производство. Болгарский национальный компонент в буржуазии был весьма слабым, болгарские капиталы вкладывались в основном в торговлю и ростовщичество. Незащищенность этих *«низших и худших форм капитала»* [2, т. 4, с. 56] от произвола турецкого государственного аппарата и турецкого феодального класса сдерживала их переход к предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве и промышленности [1, с. 203—204].

С другой стороны, отдельные элементы внеэкономического принуждения в сельском хозяйстве, цеховая организация ремесленного производства, неразвитость товарно-денежных отношений оказывали депрессивное воздействие на процесс освобождения непосредственных производителей от средств производства, сдерживали оформление класса свободных продавцов рабочей силы, как необходимого второго полюса капиталистического способа производства.

После освобождения сложилась специфическая ситуация, послужившая Д. Благоеву основанием для определения социального облика Болгарии как страны «исключительно мелкого производства» [3, с. 220]. Как отмечает П. Кунин, «буржуазно-демократическая революция в Болгарии свершилась прежде, чем полностью созрели все необходимые к тому объективные предпосылки» [4, с. 61].

Скачкообразный переход Болгарии от условий, характерных для феодального способа производства на этапе его разложения, к условиям, обеспечивающим свободное развитие буржуазных отношений, произошел тогда, когда капитализм превратился уже в господствующую формацию в мировом масштабе, а в наиболее развитых странах находился в преддверии своей высшей, монополистической стадии, проявляя активное стремление к экономической и территориальной экспансии. Экономика Болга-

рии из-за распространения на нее капитуляционных статей Берлинского договора оказалась фактически беззащитной перед экономической экспансией развитых капиталистических европейских государств, которая в основном выражалась в насыщении болгарского рынка промышленными товарами, в скупке по низким ценам и вывозе из страны сельскохозяйственных продуктов, в предоставлении займов молодому болгарскому государству. В результате Болгария уже в первые годы после обретения независимости превратилась в составную часть мировой системы капитализма, а характер ее экономического развития формировался под чрезвычайно сильным воздействием внешнего капитализма и свойственных ему тенденций развития.

Основной отраслью болгарской экономики в рассматриваемый период как по количеству занятого активного населения (не менее 74%), так и по месту в производимом национальном доходе (58,1% в 1892 г. и 56,8% в 1911 г.) являлось сельское хозяйство [5, с. 31, 459]. Степенью проникновения капиталистических отношений в сельское хозяйство обуславливался общий уровень развития капитализма в Болгарии, в том числе и в промышленности. Условия его становления в сельском хозяйстве были в значительной степени predeterminedены начавшимся в годы освободительной войны аграрным переворотом, имевшим два отчетливо выраженных этапа. До мая 1879 г. это была крестьянская аграрная революция, в ходе которой турецкая земельная собственность, особенно крупная, захватывалась болгарским крестьянством, а затем процесс перехода земли регулировался буржуазным законодательством. Был введен выкуп за турецкие земли, в том числе и за перешедшие к болгарам на первом этапе аграрного переворота. Переход земель турецких собственников к болгарам продолжался до начала XX в., но на основной части земель владельцы сменились к началу 90-х годов XIX в. [1, с. 225]. Всего до конца XIX в. к болгарам перешло от 400 до 700 тыс. га земли [6, с. 329].

Особенностью аграрного переворота в Болгарии было то, что он затронул лишь земли мусульман. Крупные нетурецкие земельные владения не только сохранились после освобождения, но и выросли, поскольку от $\frac{3}{4}$ до $\frac{2}{3}$ земель турок перешло к мелким и средним крестьянам, а остальная часть была приобретена болгарскими чорбаджиями, ростовщиками, торговцами [7, с. 331].

В результате аграрного переворота активизировался распад традиционной задружной формы землевладения. По приводимым Д. Благоевым данным, собранным в 64 селах избранной IV сессией БРСДП в 1897 г. комиссией, в 43 из них задружные хозяйства исчезли вообще, в 19 находились на стадии полного исчезновения — на 100—150 домов сохранялось от 2 до 5 задруг, и только в 2 селах они встречались чаще, но находились в состоянии разложения [3, с. 234]. В 1910 г. в Болгарии оставалось только 196 задруг [5, с. 16].

После освобождения Болгарии ускорился процесс общественного разделения труда, являющегося основой товарного хозяйства [2, т. 3, с. 21]. При оценке его масштаба следует принимать во внимание не только межсекторное разделение труда, но и международное [2, т. 3, с. 23], которое в определенных условиях может играть заметную роль в росте товарности сельскохозяйственного производства.

В. И. Ленин отмечал прямую зависимость между уровнем развития капитализма в сельском хозяйстве и использованием в нем сельскохозяйственных машин и улучшенных орудий труда: «...чем дальше втягивается земледелие в товарное обращение, тем быстрее растет спрос сельского населения... на средства производства, ибо при помощи старинных „крестьянских“ орудий, построек и пр. и пр. ни мелкий, ни крупный сельский предприниматель не может вести нового, торгового земледелия» [2, т. 3, с. 309]. В связи с этим представляется весьма важным для определения уровня развития капиталистических отношений в сельском хозяйстве определить масштабы проникновения в него орудий труда, производство которых осуществляется за его пределами, в выделившихся других секторах материального производства, и которые могут поступить в деревню

только через сферу рынка. В Болгарии в рассматриваемый период практически не было собственного сельскохозяйственного машиностроения [8, с. 49], поэтому показательными являются данные о ввозе сельскохозяйственных машин и инвентаря из-за рубежа. Если в 1886—1890 гг. их импорт составлял в среднем в год 199 *m*, то в 1906—1911—2 612 *m* [6, с. 367]. В денежном выражении он вырос с 23 тыс. левов в 1887 до 2,6 млн левов в 1910 г. [9, с. 23]. Конечно, показатель, выраженный в тоннах и левах, не дает достаточного представления о применении машин и инвентаря в сельском хозяйстве, поскольку он не учитывает изменений в структуре ввоза, увеличения в нем доли более сложных, тяжелых и дорогих машин и инвентаря. Более показательными являются данные о количестве используемых в сельском хозяйстве Болгарии машин и инвентаря. С 1893 по 1910 г. количество плугов увеличилось с 18,7 тыс. до 114,2 тыс. штук. Но основная масса крестьянских хозяйств для вспашки земли по-прежнему использовала соху: в 1900 г. в стране было 387,3 тыс. сох, а в 1910 г.—420 тыс. Таких сельскохозяйственных машин, как сеялки, жатки, молотилки, веялки, в целом насчитывалось немного, хотя относительный рост их числа был достаточно высоким [5, с. 139]. Быстрое увеличение количества сельскохозяйственного инвентаря и машин промышленного производства объясняется прежде всего низким исходным уровнем, но тем не менее оно свидетельствует о постепенной модернизации сельскохозяйственного производства и усиливающих связь сельского хозяйства с рынком. При определении уровня общественного разделения труда в сельском хозяйстве необходимо учитывать, что часть сельскохозяйственного инвентаря производилась сельскими ремесленниками, численность которых в 1911 г. превышала 33 тыс. человек [5, с. 280]. Но в целом процесс сельскохозяйственного производства в рассматриваемый период все еще базировался на применении колоссальной массы живого труда людей и рабочего скота в соединении с примитивным инвентарем. В 1910 г. плуги имели около 20% хозяйств [5, с. 141]. Основной тягловой силой оставались крупный рогатый скот и лошади, даже в 1910 г. в качестве рабочего скота использовалось около 50% поголовья коров и буйволиц [5, с. 249]. Вследствие замедленности процесса индустриализации и урбанизации чрезвычайно ограниченными были возможности оттока населения из сельскохозяйственного производства. Если в 1888 г. на 100 хозяйств приходилось 132 работающих членов семьи, то в 1910 г.—уже 250 [6, с. 410]. Большая часть естественного прироста сельского населения оставалась в деревне, росло аграрное перенаселение, а это сдерживало модернизацию сельскохозяйственного производства.

Сельское хозяйство Болгарии оставалось гигантским, в своей основе саморегулирующимся сектором, воспроизводство в котором базировалось преимущественно на создаваемых в нем самом материальных ресурсах. Внутрисекторные связи преобладали над межсекторными, общественная производительная сила труда оставалась на крайне низком уровне, по существу находилась в состоянии стагнации. Живой труд играл ведущую роль в процессе воспроизводства, а аграрное перенаселение выступало одним из основных факторов, консервировавших это состояние стагнации.

О низком уровне общественного разделения труда в сельском хозяйстве свидетельствовало состояние специализации аграрного производства в масштабах страны и в международном плане. На протяжении всего рассматриваемого периода ведущей отраслью производства как по количеству занятой земли, так и по месту в экспорте оставалось традиционное зерновое хозяйство. С 1889 по 1911 г. площади под зерновыми увеличились на 89,3% [5, с. 150]. Посевы технических культур хотя и росли, но в 1911 г. они занимали только 4,3% обрабатываемых площадей [1, с. 265]. Наблюдалась определенная районизация возделывания отдельных культур, некоторые из них, как например рапс, анис, розовое масло в основном производились на экспорт [5, с. 173, 178, 181, 202]. Но основную часть экспорта сельскохозяйственной продукции составляло зерно (не менее 70% на протяжении всего периода) и продукты животноводства [1, с. 247, 275]. О преобладании зернового производства свидетельствует и динамика

цен на различные категории земли. С 1880 по 1910 г. цены на пашню выросли в среднем в 7 раз, на табачные плантации — в 6 раз, на розовые плантации — в 3, на сады — в 4 раза [5, с. 113].

В сельском хозяйстве доминировали экстенсивные методы производства. Лишь с конца XIX в. господствующей становится трехпольная система земледелия, и только кое-где в 90-е годы наблюдается переход к плодочередной системе [10, с. 28]. Постепенно сокращалось количество земли под паром: с 36,8% обрабатываемых площадей в 1897 г. до 16,98% в 1912 г. [5, с. 150; 11, с. 136]. Но урожайность основных зерновых культур оставалась практически неизменной: 1 125 кг с га в среднем в год в 1897—1899 гг. и 920 кг в 1905—1911 гг. [5, с. 154; 8, с. 124] (на снижение показателя повлиял неурожай 1907—1909 гг.). Основной абсолютный прирост сельскохозяйственной продукции, особенно в полеводстве, достигался преимущественно за счет распашки новых земель. Количество земель, находившихся в частной собственности, выросло с 1889 по 1908 г. на 53,3%, зерновой клин — на 89,3%. Производство зерна по темпам роста отставало от указанных выше показателей и в отдельные годы за период с 1889 по 1911 г. его рост не превышал 36,3% от уровня 1889 г. [5, с. 150, 153].

В рассматриваемый период достаточно быстро расширялись рыночные связи сельского хозяйства. При слабом развитии внутреннего рынка сельскохозяйственных продуктов чрезвычайно важное значение приобретали внешние рынки. С 1886 по 1911 г. экспорт зерновых из Болгарии возрос более чем в 3 раза [7, с. 178] (при известных колебаниях, вызванных неурожаями). Следовательно, он опережал по темпам как прирост земель под зерновыми, так и увеличение производства последних. Учитывая экстенсивный характер производства и сохранение натуральных основ воспроизводства, можно с полным основанием говорить, что в данном случае имела место не возрастающая товарность, а расширение масштабов получения меновых стоимостей, не подкрепленное соответствующим уровнем общественного разделения труда.

Развитие капитализма в сельском хозяйстве Болгарии происходило под влиянием нескольких чрезвычайно сильных факторов — прежде всего, далеко не завершенного к моменту освобождения страны процесса первоначального накопления капитала. В Болгарии не было принудительного стона крестьян с земли, отсутствовали условия для колониального грабежа. Здесь миссию «раскрестьянивания» выполнял в первую очередь торгово-ростовщический капитал, получивший широкое поле деятельности в связи с введением выкупа за земли, переходившие от турок к болгарам. До конца XIX в. за эти земли было уплачено от 40 до 150 млн золотых левов (ср. [1, с. 225; 6, с. 329; 12, с. 383; 13, с. 119]). Государственной помощью — кредитами на льготных условиях для покупки земли смогли воспользоваться только около 5% хозяйств [6, с. 329]. Ростовщический ссудный процент в условиях повышенного спроса на займы и при почти полном до конца XIX в. отсутствии государственного и кооперативного кредитования был чрезвычайно высоким — от 24 до 300% в год (ср. [1, с. 225; 6, с. 329; 12, с. 383]), но тем не менее значительной части крестьянства пришлось прибегнуть к услугам ростовщиков, у которых ими было взято в долг около 75 млн левов [12, с. 383]. В конце XIX в. крестьянский долг ростовщикам составлял около 91 млн левов [6, с. 331]. Задолженность крестьян ростовщикам росла и в начале XX в. Если в 1887 г. по явно заниженным данным ипотечный долг частным банкам и лицам составлял 198 тыс. левов, то в 1900 г. — 2,1 млн, а в 1911 г. — 5 млн левов [5, с. 122]. Нередки были случаи продажи земель несостоятельных должников, часть из них переходила в руки ростовщиков.

Процесс первоначального накопления в Болгарии шел как бы «вширь», вовлекая в свою орбиту все новые группы крестьянства, разлагая традиционные социальные структуры. Но он крайне медленно развивался «вглубь», т. е. не реализовывался в равноценной степени в становлении капиталистического способа производства и соответствующих ему классовых структур. В условиях роста спроса на сельскохозяйственную продукцию, особенно на мировых рынках, торгово-ростовщический капитал

стремился, прежде всего, к захвату крестьянского урожая. Именно в этом кроется одна из основных причин широкого распространения «зеленичарства», т. е. скупки урожая на корню, а также различных форм кабальной аренды. До конца XIX в. в Болгарии практически отсутствовали крупные капиталистические хозяйства. Около 80% крупных земельных собственников, особенно из числа ростовщиков, предпочитали сдавать свои земли крестьянам за половину урожая или на других условиях аренды [14, с. 86]. Крестьяне обрабатывали арендуемую землю собственным примитивным инвентарем. В результате довольно высокая товаризация производимого в сельском хозяйстве продукта была обусловлена не столько действительным товарным обменом между товаропроизводителями, сколько безвозмездным изъятием продукта из производства и обращением его в товар до или после его отчуждения. Фактически, большинство болгарских крестьян, попавших в сферу действия ростовщического капитала, представляли собой не товаропроизводителей, а производителей меновых стоимостей, осуществлявших воспроизводство на натуральной основе. Вследствие этого в болгарской деревне наблюдались процессы пауперизации, «непролетариатского обнищания» как низшая и худшая форма разложения крестьянства [2, т. 4, с. 56]. В связи с этим задерживался процесс разложения крестьянства, происходило разрушение производительных сил деревни.

Эксплуатация чужого труда на основе тех или иных форм зависимости не может рассматриваться как капиталистическая, даже если ее результатом является прибавочная стоимость, а закабаленный работник не есть представитель наемного труда в марковом понимании этой категории.

В свою очередь, эксплуататоры, прибегающие к кабальным методам эксплуатации работников, не являются частью класса капитала, а образуют один из отрядов буржуазии периода первоначального накопления, находящейся на различных стадиях своего разложения и превращения в капиталистическую буржуазию. Ростовщичество играло и определенную конструктивную роль в развитии капитализма, расчищая, хотя и медленно, место и создавая некоторые предпосылки для становления новых форм хозяйства.

Важным фактором, ускорявшим процесс «раскрестьянивания», была государственная налоговая политика. С 1879 по 1911 г. размер налогообложения в Болгарии вырос с 27,5 до 150,2 млн левов [5, с. 422], причем львиную долю налогов платило крестьянство [13, с. 132]. В 1897 г. крестьянское хозяйство должно было платить 153,5 лева налогов и других государственных повинностей, что равнялось стоимости 2 волов или урожая пшеницы с 1,6 га земли [4, с. 30—31].

С конца XIX в. начал быстро расти ипотечный долг государственному Болгарскому земельному банку (БЗБ) и Болгарскому народному банку (БНБ). С 1887 по 1911 г. он вырос с 375 тыс. до 33,2 млн левов, т. е. более чем в 88 раз [5, с. 122]. Земли несостоятельных должников переходили в собственность банков: в 1897 г. у БНБ и БЗБ было 211 га земли, а в 1908 г.—28 985 га, т. е. почти в 140 раз больше [5, с. 82]. Капитал не переставал выполнять функцию первоначального накопления и после централизации системы обращения и кредита.

После освобождения болгарское крестьянство стало объектом эксплуатации со стороны иностранных капиталистов, подчинивших себе внешнюю торговлю страны. К участию в скупке сельскохозяйственных продуктов на экспорт их привлекала нехватка оборотных средств у оптовых болгарских торговцев и возможность получения высокой прибыли. Уже в конце 80-х годов крупные иностранные фирмы стали открывать свои отделения и агентства в экспортных центрах Болгарского княжества. Они подчинили себе вывоз зерна, яиц, кож, розового масла, коконов шелкопряда [15, с. 44—45]. К 1912 г. иностранные капиталисты закупали на вывоз около 50% продуктов сельского хозяйства на сумму 50—60 млн левов в год [15, с. 48—49; 8, с. 187]. Особенно упрочились их позиции во внешней торговле с середины первого десятилетия XX в., когда в Болгарии открылись дочерние предприятия австрийской, французской и гер-

манской банковских монополий. Именно в экспортной торговле были заключены первые картельные соглашения в Болгарии [9, с. 91—93; 14, с. 98; 15, с. 47].

Иностранный капитал овладел к 1912 г. и значительной частью импорта Болгарии, в том числе сельскохозяйственных машин и инвентаря, нефти и нефтепродуктов, металлических изделий, активно проникал во внутреннюю торговлю, открывались торговые филиалы крупных монополистических предприятий [6, с. 391; 9, с. 77].

Включение болгарского сельского хозяйства в мировой капиталистический рынок вело к утверждению на национальном рынке универсальных законов товарного хозяйства и механизма ценообразования, регулируемого извне, стимулировало жажду обогащения у эксплуататорских классов, присваивавших прибавочный продукт на базе широко раздвинувшихся границ обмена, прежде всего через издольщину. В условиях, когда открылись широкие возможности реализовать произведенный продукт на рынке, обычно именно при такой системе земельный собственник мог выжать из арендатора максимальную арендную плату и обеспечить наиболее высокий доход по сравнению с другими видами аренды, в том числе и денежной. В 1901—1906 гг. средняя арендная плата за декар составляла 4,07 лева при 0,51 лева земельной ренты, а в 1907—1914 гг. соответственно 4,60 и 1,85 лева [6, с. 369].

Таким образом, сельское хозяйство Болгарии в рассматриваемый период подверглось одновременному воздействию нескольких чрезвычайно сильных факторов: ростовщического и торгового капиталов, осуществлявших свою миссию первоначального накопления капитала; буржуазного государства и его фискальных и финансовых институтов, деятельность которых объективно совпадала с деятельностью торгово-ростовщического капитала; международного капиталистического рынка и его финансовых агентов, активно вовлекавших болгарское сельскохозяйственное производство в международное разделение труда. Совокупность этих факторов обуславливала опережающую товаризацию сельскохозяйственного продукта без адекватного роста общественного разделения труда и становления капиталистических форм производства, оказывала деструктивное воздействие на крестьянское хозяйство, способствовала консервации его отсталости, натуральных основ воспроизводства. Болгарское село подвергалось воздействию одновременно первоначального накопления капитала, который разрушал докапиталистические уклады, но не вел автоматически и немедленно к возникновению капиталистического уклада и его превращению в единственный [16, с. 389], и капиталистического накопления, причем баснословные прибыли, получаемые иностранными капиталистами, оседали не только вне сельского хозяйства, но и вне Болгарии. В результате этого огромные средства, выкачиваемые из болгарской деревни, не направлялись на развитие капиталистического производства в сельском хозяйстве и промышленности. А самостоятельное развитие торгового и ростовщического капитала в деревне задерживало разложение крестьянства (см. [2, т. 3, с. 178]).

Важным показателем состояния капиталистических отношений в сельском хозяйстве Болгарии являлось развитие отношений земельной собственности. Трудности в воссоздании точной картины обусловлены отсутствием достаточно достоверных статистических данных, сложным характером миграционных процессов. Среди исследователей преобладает убеждение, что замедлившийся в первое десятилетие после освобождения страны процесс экспроприации непосредственных производителей резко активизировался в конце 80-х — начале 90-х годов, после чего вновь произошло его замедление и вплоть до 1912 г. преобладал рост мелкого крестьянского землевладения. Исходя из результатов переписей, учитывавших основное занятие опрошенных, делается вывод, что с 1888 по 1892 г. количество самостоятельных сельских хозяев сократилось на 97,6 тыс., т. е. на 18,6% [1, с. 226—227]. Процесс первоначального накопления рассматривается при этом как одноразовая экспроприация крестьянства.

Изложенная выше концепция вызывает определенные сомнения, поскольку она не учитывает в должной степени ряд весьма существенных обстоятельств. Во-первых, выезд из Болгарии в 1888—1893 гг. около 45 тыс. турок, т. е. стало меньше примерно на 10—15 тыс. хозяйств [1, с. 227]. Во-вторых, рост государственного аппарата, увеличение числа чиновников, офицеров, учителей, священников, доходы которых от службы были более высокими и стабильными, чем от примитивного сельского хозяйства, вследствие чего эти лица не считали ведение хозяйства своим основным занятием. Только с 1896 по 1911 г. число государственных служащих выросло с 20,5 до 47,3 тыс. человек [11, с. 392—393]. В-третьих, занятость в широко распространенном деревенском ремесле и промыслах, доходы от которых были часто выше чем от земледелия. Наконец, наличие торговцев, ростовщиков, которые сами не вели хозяйства. Естественно, было бы ошибкой полностью отрицать проходившую в 1887—1892 гг. пролетаризацию крестьянства, поскольку это объективный в условиях становления и развития капитализма процесс. Скорее всего, абсолютные масштабы этого процесса были менее значительными. В частности, по данным о классификации населения по роду занятий и источникам существования, в 1887 г. за счет земледелия, рыболовства и горнодобывающей промышленности жило 74,3% населения, в 1892 — 74% [5, с. 31]. Разорившаяся сельская беднота начинает вливаться в ряды наемных промышленных рабочих только с конца XIX в. [17, с. 76].

Основным фактором, сдерживавшим процесс пролетаризации крестьянства, являлась проводившаяся в широких масштабах распашка государственных и общинных земель. В условиях примитивного земледелия потерявшие землю крестьяне достаточно легко могли создавать новые хозяйства. С 1882 по 1908 г. количество частновладельческой земли увеличилось на 88,5%, а самодеятельное сельскохозяйственное население — только на 52,3%. Особенно быстро росла частная земельная собственность до конца XIX в. — на 69,8%, в то время как самодеятельное население увеличилось только на 33,4% [6, с. 410]. Лишь в начале XX в. прирост самодеятельного населения в деревне стал опережать прирост земли в частном владении, а создание новых крестьянских хозяйств наталкивалось на все большие трудности. В связи с этим в социальном облике болгарского села усилились явления, не игравшие прежде заметной роли. Быстро росло число сельскохозяйственных рабочих, как правило это были молодые крестьяне без семей [5, с. 135]. С 1904 г. началась массовая эмиграция болгар в Америку, до 1912 г. туда выехало 80 тыс. человек [5, с. 73].

Характерной чертой развития отношений земельной собственности в рассматриваемый период была возрастающая раздробленность земельных владений. Если в 1897 г. частновладельческая земля была разделена на 7 982 221 парцеллу, то в 1908 г. — уже на 9 876 519 парцелл, т. е. рост составил 23,7%, опередив прирост и земли, и владений [8, с. 128]. Наблюдалось также сокращение среднего размера парцелл во владениях площадью более 10 га при одновременном более быстром увеличении количества парцелл в этой же группе хозяйств [8, с. 129].

В целом, в рассматриваемый период в Болгарии довольно отчетливо прослеживается процесс постепенной пауперизации крестьянства, рост числа сокращающихся по размерам хозяйств. С 1887 по 1908 г. число владений площадью до 2 га увеличилось на 62 252, от 2 до 10 га — на 62 341, а свыше 10 га — только на 19 195 [5, с. 89]. В 1897—1908 гг. имел место рост мелкого и среднего землевладения как в абсолютном, так и в процентном отношениях, при сокращении удельного веса крупных хозяйств площадью более 30 га [6, с. 366]. По подсчетам К. Попова, в конце первого десятилетия XX в. из имевших пашню хозяйств 80 тыс. были размером до 2 га, 320 тыс. — от 2 до 10 га, 90 тыс. — от 10 до 30 га и только 4950 — свыше 30 га [5, с. 134]. Таким образом, в болгарском селе к 1912 г. преобладали хозяйства размером до 10 га, в собственности которых было более половины всей пахотной земли. Прожиточный минимум средней крестьянской семье могло обеспечить хозяйство в 6,2 га [18, с. 46]. Следовательно, владельцы меньших хозяйств должны были искать по-

бочные заработки или же арендовать землю. К. Попов отмечает, что только хозяйства размером свыше 10 га имели годовой доход, совершенно достаточный для покрытия их издержек и дающий излишек [5, с. 90]. В условиях слабого развития промышленности и других несельскохозяйственных отраслей экономики земельный голод вел к широкому распространению докапиталистической по своей сути аренды.

В связи с этим наблюдалось отставание концентрации производства от концентрации земли. Этому явлению способствовали и другие факторы. Урожайность зерновых в чифликах, использовавших наемный труд, была в конце XIX в. в среднем на 30—40% ниже, чем в мелких и средних хозяйствах [6, с. 335]. Прежде чем наладить капиталистическое производство в крупных земельных владениях, которые зачастую возникали из мелких крестьянских парцелл, экспроприруемых ростовщиками за долги, необходимо было ликвидировать чересполосицу, что уже само по себе было нелегким делом. Довольно частыми были случаи, когда эти парцеллы находились на территории не одного, а нескольких сел. Переход к интенсивным методам хозяйствования требовал больших капитальных вложений — до 6,2 тыс. левов на га, что значительно превосходило рыночную стоимость земли [10, с. 28]. Именно поэтому предпринимавшиеся в конце XIX в. попытки организации иностранными предпринимателями крупных капиталистических хозяйств в Болгарии были неудачными [6, с. 336].

Окончание мирового аграрного кризиса к началу XX в., рост спроса на продовольствие и сельскохозяйственное сырье на внутреннем рынке и, как следствие, возрастание цен на продукцию сельского хозяйства создали в начале XX в. более благоприятные условия для развития крупных капиталистических хозяйств, основанных на применении наемного труда и сельскохозяйственных машин. В 1900 г. в Болгарии было 35 чифликов и 40 крупных арендованных хозяйств, обрабатываемых с помощью наемного труда, а в 1905 г. — уже 160 чифликов и 485 арендованных хозяйств [5, с. 134], расположенных в основном на Дунайской равнине и в районе Бургаса [6, с. 368]. В Северо-Восточной Болгарии была сконцентрирована почти половина всех крупных хозяйств страны, владевших шестью и более лошадьми, оснащенных наиболее современными сельскохозяйственными машинами — сеялками, жатками, молотилками, количество плугов здесь превосходило число сох [5, с. 141—142, 143, 229]. Но в целом капиталистические хозяйства до 1912 г. не стали преобладающими в Болгарии ни по численности, ни по размерам производства.

Оценивая состояние сельского хозяйства Болгарии в 1878—1912 гг. в целом, следует отметить, что оно сохраняло отчетливо выраженный многоукладный характер — в нем сосуществовали натуральный, товарный и капиталистический уклады. Несомненно, что основным, формационным был капиталистический, но его развитие сдерживалось сохранением в крупных масштабах докапиталистических укладов. Болгарию конца XIX — начала XX в. следует отнести к числу государств «второго эшелона» капитализма, отличавшихся некоторой спецификой процессов становления и развития капиталистических отношений, в том числе и в сельском хозяйстве. Это своеобразие проявилось прежде всего в характере первоначального накопления. На становление буржуазных отношений в сельском хозяйстве внешний капитализм оказывал гораздо большее воздействие, чем процессы «самородного» развития. Рост товарности сельскохозяйственного производства обуславливался, в первую очередь, потребностями развитых капиталистических государств в дешевых продуктах и сырье, которые на местах по преимуществу продолжали производиться прежними примитивными методами. Наблюдался существенный разрыв между торговой и производственной сферами, отставание второй от первой. Быстрый рост товарно-денежных отношений в сельском хозяйстве не был органически связан с ростом производительных сил, не был «синхронным» ему. В Болгарии после освобождения наблюдался отчетливый сдвиг аграрной экономики в сторону производства меновых стоимостей при сохранении преимущественно натуральных основ воспроизводства ее хозяйственного организма. Такой рост товарно-денежных отношений угнетаю-

ще действовал на развитие производительных сил в сельском хозяйстве, а тем самым и на развитие болгарского национального капитализма в целом.

Давление товарно-денежной экономики на традиционное крестьянство в условиях преобладания экстенсивного производства вело к имущественному расслоению мелких производителей и постепенному разорению их основной массы. Но специфика развития капитализма в странах «второго эшелона» заключалась в том, что традиционное крестьянское хозяйство не только вытеснялось капиталистическим, но и сосуществовало с ним и даже укрепляло свои позиции. Немаловажное значение имело то обстоятельство, что в условиях крайне низкого уровня капиталистического производства в промышленности и замедленности процесса урбанизации сельское хозяйство становилось своего рода резервуаром для излишней рабочей силы, росло аграрное перенаселение. Аграрный переворот способствовал капиталистической трансформации крестьянской верхушки, но вместе с тем он привел к дальнейшему распространению кабальной аренды, к активизации торгово-ростовщического капитала, ставшего настоящим бедствием для крестьянства, т. е. к усилению докапиталистических по своему характеру форм эксплуатации крестьянства.

Несомненно, эволюция торгово-ростовщического капитала шла в конечном счете в буржуазном направлении, являлась «особой переходной стадией» становления капитализма. Но сами по себе различные докапиталистические формы эксплуатации — ростовщичество, зеленичарство, кабальная аренда и т. д. — обладали весьма низкой способностью генерировать капиталистические производственные отношения в сельском хозяйстве и вели к тому, что процесс буржуазного развития протекал в наиболее мучительных для мелких производителей условиях.

Вторая специфическая особенность развития капитализма в сельском хозяйстве Болгарии в рассматриваемый период проявлялась в проходившем здесь процессе классового образования, замедленности становления сельской буржуазии. Доминирующей тенденцией была относительная децентрация земельной собственности, т. е. опережающий и по темпам и в абсолютном исчислении рост мелких и средних крестьянских хозяйств, «асинхронность» процессов концентрации земли и концентрации производства. Крайне медленно проходила техническая модернизация сельскохозяйственного производства. Разбогатевшие за счет крестьянства ростовщики и посредники предпочитали вкладывать средства не в сельское хозяйство, а в промышленность, торговлю, кредит, сферу обслуживания, отдавая предпочтение трем последним областям.

Замедленность капиталистических преобразований в социально-экономическом базисе вела к серьезным социальным последствиям. Развивающееся товарное производство сотрясало архаичный аграрный строй, что вело к радикализации настроений в деревне. Носителем этого радикализма являлось не только и не столько мелкотоварное крестьянство, сколько постепенно экспроприруемое традиционное крестьянство, не успевшее еще сформироваться в мелкобуржуазный слой, не видящее для себя перспективы в новом, буржуазном мире, превращающееся в пауперов в результате деградации прежнего способа производства без адекватного становления капиталистической социально-экономической формации. И этот радикализм неизбежно должен был принять антикапиталистическую направленность. Его выражали, в частности, некоторые деятели крестьянского движения в Болгарии, приступившие в начале XX в. к разработке программы «третьего», «крестьянского», не капиталистического и не социалистического пути общественного развития. Теоретическим обоснованием возможности такого пути развития должна была стать разделявшаяся ими мелкобуржуазная утопическая идеология эпохи империализма — аграризм.

ЛИТЕРАТУРА

1. Стопанска история на България. 681—1981. София, 1981.
2. Ленин В. И. Полн. собр. соч.
3. Благоев Д. Съч., т. 6. София, 1958.

4. *Кунин П.* Аграрно-селският въпрос в България. От Освобождението до края на Първата световна война. София, 1971.
5. *Попов К. Г.* Стопанска България през 1911 год. Статистически изследвания. София, 1916.
6. Икономика на България. Т. 1. Икономика на България до социалистическата революция. София, 1969.
7. История на България. Второ преработено издание в 3 тома. Т. 2. София, 1962.
8. 100 години българска икономика. София, 1978.
9. *Наташ Ж., Беров Л.* Монополистическият капитализъм в България. София, 1958.
10. *Георгиев Г.* Освобождението и етнокултурното развитие на българският народ. 1877—1900. София, 1979.
11. Статистически годишник на Българското царство. Година IV — 1912. София, 1915.
12. История Болгарии. Т. 1. М., 1954.
13. Социално-икономическата политика на българската държава (681—1981). Варна, 1981.
14. *Беров Л.* Икономическото развитие на България през вековете. София, 1974.
15. *Чакалов А.* Форми, размер и дейност на чуждия капитал в България. 1877—1944. София, 1962.
16. *Маркс К. и Енгелс Ф.* Соч., т. 26, ч. III.
17. *Бирман М. А.* Формирование и развитие болгарского пролетариата. 1878—1923, М., 1980.
18. *Горов М.* Борьба крестьян Болгарии. М.— Л., 1927.



АНГЛИЙСКАЯ И ФРАНЦУЗСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРЕЦИИ В АНТАНТУ В 1916 ГОДУ

С начала первой мировой войны правительство королевской Греции придерживалось политики нейтралитета. До вступления в войну Турции такое положение устраивало обе воюющие военно-политические группировки — Антанту и Тройственный союз. Вместе с тем привлечение возможно большего числа союзников являлось неотъемлемой задачей дипломатий обоих блоков. Греция, занимавшая ключевые позиции в районе Восточного Средиземноморья и обладавшая довольно значительным флотом, должна была, по замыслам дипломатии Антанты, вступить в войну «в подходящий момент». Такой момент настал для держав Согласия, и прежде всего для Англии, в период подготовки и проведения Дарданелльской операции 1915 г., но сильное противодействие Германии, а также Италии и России, неспособность союзников овладеть проливами и другие причины не позволили Греции примкнуть к Антанте. Несмотря на это западные державы не оставляли надежды на привлечение греческой армии и флота на свою сторону. Правительства Англии и Франции придавали большое значение силам Греции в деле оказания помощи Сербии, с которой греческое государство было связано союзническими обязательствами. 5 октября 1915 г. в порту Салоники в нарушение суверенных прав греческого народа, но с молчаливого согласия проантантовского правительства Э. Венизелоса, высадился англо-французский десант, первоначальной целью которого было оказать давление на Грецию и облегчить Венизелосу задачу вступления в войну. Однако и эта цель союзников в связи с разногласиями между ними по вопросу о высадке и создании фронта в Салониках не была осуществлена. Лишь общее ухудшение стратегического и политического положения держав Антанты на Балканах в конце 1915 и начале 1916 г. в результате вступления Болгарии в войну на стороне Центральных держав заставило правительства Англии и Франции всерьез задуматься о значении Салоникского фронта и роли Греции.

В связи с активной борьбой держав Антанты и коалиции Центральных держав за привлечение на свою сторону греческого государства правящие круги Греции оказались окончательно расколотыми на две враждующие группировки — «роялистов» и «венизелистов» — соответственно ориентировавшиеся на Центральные державы и страны Антанты.

Руководящей силой венизелистов была молодая греческая буржуазия, создавшая в 1910 г. в результате «военной революции» в Гуди либеральную партию во главе с видным политическим деятелем премьер-министром Э. Венизелосом. В эту группировку входили финансисты, промышленники, торговцы, служащие государственных учреждений, часть крестьянства, получившего землю по реформам 1911—1912 гг., проведенным по инициативе Венизелоса, и даже представители сильно разрозненного в то время рабочего класса. Доктриной внешней политики Венизелоса было создание с помощью Англии и Франции Великой Греции, включающей

земли соседних государств. Это полностью отвечало интересам крупной торгово-финансовой буржуазии Греции, тесно связанной с англо-французским капиталом. По словам прогрессивного греческого историка Г. Ламбриноса, «они видели в войне и победе Антанты открытые дороги к Константинополю и к Малой Азии» [1, с 90].

В группировку «роялистов» входили представители бывшего привилегированного класса крупных землевладельцев, видные государственные чиновники, смещенные Венизелосом со своих постов в годы восстания 1909—1910 гг., дворцовые круги, верхушка греческой армии — генштаб и часть офицерства, получившая образование в Германии. Король Константин, возглавлявший греческую армию в период балканских войн 1912—1913 гг., в результате которых Греция получила значительные территориальные приращения, пользовался также большой популярностью в крестьянской среде и в армии.

Константин и его окружение ратовали за расширение и укрепление греческого государства не в Малой Азии и на островах Эгейского моря, о чем мечтал Венизелос, а на Балканском полуострове, что перекликалось с германской программой создания Средней Европы. Немецкие газеты, обсуждавшие в 1916 г. вопрос, «каким государством должна быть Греция — континентальным или морским?», давали ответ, не менее нелепый, чем вопрос, а именно, что «Греция найдет самое себя только тогда, когда она, вопреки географии, решится сделаться державой континентальной, так как Средиземное море всегда будет в руках Англии, Франции и Италии». Газеты убеждали, что Греция «получит свободу действий и необходимую в сношениях с англичанами поддержку» только тогда, когда свяжет себя со средневропейской железнодорожной сетью при помощи строящейся линии Афины—Берлин, по которой она сможет получать все необходимое из Германии и Австрии [2, д. 378, л. 12]. Цель, таким образом, была ясна. Стремясь привязать Грецию к экономике Центральных держав, Германия хотела, вместе с тем, избежать возможных конфликтов между Грецией и Турцией.

Группировка «роялистов» проводила в Греции политику сохранения нейтралитета, что было более выгодно державам центрального блока вплоть до их наступления на Салоникском фронте летом 1916 г.

В проведении своей внешней и внутренней политики обе группировки совершенно не считались с интересами греческого народа, измученного двумя балканскими войнами. Социалистическое же движение в Греции окрепло лишь к концу войны.

Осенью 1916 г. при прямом военном содействии англо-французских войск «венизеллисты» организовали антиправительственный мятеж на Крите и других островах Эгейского моря и создали временное правительство в Салониках во главе с Э. Венизелосом, что фактически привело к расколу греческого государства и подчинению его державам Антанты.

Буржуазные историки антантофильского направления (В. Селигмен, Н. Григориадис, Г. Вентирис и др. [3]) стремятся оправдать все действия Э. Венизелоса, английской и французской дипломатии в Греции, а также представить венизеллистское движение как национальное. Историки же консервативного направления (Д. Эббот, А. Франгулис, П. Хиббен [4]), хотя и усматривают причину «несчастий Греции», в частности, в столкновении интересов Англии и Франции в Восточном Средиземноморье, но цель их работ — желание очернить Венизелоса и поднять на щит политику греческого короля Константина и его сподвижников — «роялистов».

Полнее исследована политика держав Антанты в отношении Греции в 1916 г. в монографии греческого историка Д. Леона (Леондаридиса) [5], где уделяется много места изучению вопросов возникновения и развития венизеллистского движения, внутривластной борьбы в Греции. Но в работе преувеличивается самостоятельность политики Венизелоса, не анализируются истинные мотивы действий западных держав в Греции; некоторые вопросы трактуются в антиболгарском и антисербском духе. Работа кипрского историка Х. Теодулу интересна только своей документальной основой [6].

В советской историографии данная тема разработана недостаточно. Во вступительной статье к публикации Е. А. Адамова [7] рассматриваются многие вопросы взаимоотношений Греции с державами Антанты. Вместе с тем автор не исследует английскую политику в Греции, венизелистское движение и другие проблемы. А. М. Зайончковский и Н. Г. Корсун [8], проанализировав военную деятельность держав Антанты на Салоникском фронте, оставили в тени политические события. В. А. Емец [9], Ф. И. Нотович и Ю. А. Писарев [10] касаются этих вопросов лишь в той мере, в какой это необходимо для рассмотрения темы их исследований.

Задачей данной статьи является изучение на основе архивных материалов истинных мотивов, целей и методов политики Франции и Англии в отношении Греции в 1916 г.

В связи с решением держав Антанты оставить свои войска в Салониках и приступить к укреплению обороны этого района, принятым в Шантильи 11 декабря 1915 г., перед союзниками встала задача удалить «опасную занозу», которой, по выражению Ллойд Джорджа, была непокорная Греция в тылу союзнических сил.

По-прежнему конечной целью дипломатии стран Антанты в Греции было привлечение этого государства к Четвертому согласию. Но в связи с тем, что все попытки склонить греческое правительство на свою сторону путем переговоров и обещаний территориальных компенсаций наталкивались на упорное сопротивление прогермански настроенных короля, генштаба и кабинета министров, союзниками были выработаны иные методы воздействия на Грецию, которые должны были обезопасить пребывание их войск на греческой территории, примирить общественное мнение страны с фактом высадки англо-французских сил в Салониках, нейтрализовать все попытки греков оказывать помощь Германии, а также способствовать созданию благоприятной почвы в стране для возвращения к власти известного проантантовского политического деятеля бывшего премьер-министра и лидера либеральной партии Э. Венизелоса, обещавшего при первой же возможности объявить войну Центральным державам.

11 декабря 1915 г. главнокомандующий французскими войсками в Салониках генерал М. Саррайль заявил греческому правительству, что союзниками будут предприняты меры по укреплению обороны Салоник [7, № XXIX, с. 48], а также предъявил требование об отводе греческих войск из этого района.

Франция, Англия и Италия строго ограничили ввоз в Грецию продовольствия и иных товаров (зерна, риса, кофе, каменного угля) и сократили экспорт из Греции (коринки, фруктов и прочего), задержали в своих портах большую часть греческих пароходов [11, д. 4261, л. 52]. 31 декабря французы разрушили все мосты от Килиндира до Дедеагач на железнодорожной линии Салоники — Дедеагач, чем вызвали возмущение в Греции, так как отрезанные от Салоник гарнизоны Сереса и Драмы остались без провианта [12, д. 466, л. 699].

10—11 января 1916 г. началась высадка англо-французских войск в Салониках. В январе 1916 г. французы и англичане распоряжались уже на Лемносе, Митилене, Кастелоризо, Аргостоли, Кефалонии, Имбросе, в Судской бухте на Крите и других островах [7, № CX, с. 58, № CXIV, с. 63; 11, д. 4261, л. 60, 61], заняли Халкидонский полуостров и большую часть Северной Македонии. 15 января французы высадились на Корфу [7, № CXIV, с. 63], а в конце месяца оккупировали форт у входа в Салоникскую бухту Карабурну, нарушая этим соглашение с Грецией от 23 ноября 1915 г. [13, № 82, с. 37]. Газета «Атинэ» в связи с этим отмечала, что «вооруженный нейтралитет Греции становится после захвата форта Карабурну бессмысленным, так как войска держав согласия являются ныне почти полными хозяевами в Салониках» [2, д. 379, л. 20].

Однако между союзниками существовали серьезные разногласия в отношении их политики в Греции, которые объяснялись в основном их военными целями. Так, французское правительство, отстаивавшее план активных наступательных операций союзников на Балканах, решило поддерживать существующее в Греции проантантовское движение, противопо-

ставив его королю и прогерманскому правительству С. Скулудиса. По словам российского посланника в Афинах Е. П. Демидова, Франция не останавливалась даже перед возможностью свержения греческого монарха [14, д. 340, л. 52, 53].

В Англии также существовали сторонники радикальных мер. Так, в октябре 1915 г. генконсул Великобритании в Афинах В. Эрскин писал министру иностранных дел Англии Э. Грею, что «заполучить Грецию можно только убрав короля. Если Венизелос один будет возглавлять движение, все будет в порядке» [6, р. 204]. Генерал Г. Вильямс также предлагал в целях привлечения греческой армии на сторону союзников «взять греческого короля за горло» [15, р. 262]. Английский посланник в Афинах Ф. Эллиот считал необходимым поддержать венизелистов. Однако большинство в английском правительстве было против усиления венизелистского движения, предпочитая не осложнять отношения с Грецией, что объяснялось нежеланием правящих кругов Англии начинать наступательные операции на Балканах в то время, когда необходимо было поправить дела на Ближневосточном фронте. Лорд Крюю, например, считал, что поддержка венизелистского движения приведет к «опасной революции» или гражданской войне в Греции, что может ослабить английские позиции в Средиземноморье [16, р. 281, 282].

В то время как французские представители все меньше считались с мнением короля и генштаба Греции, в Англии пришли к выводу о необходимости проводить в Греции умеренную политику и оказывать сдерживающее влияние на Францию. Английская дипломатия стремилась смягчить тон многочисленных нот и заявлений с требованиями союзников к Греции. Король Георг V в письме к премьер-министру Франции А. Бриану резко осуждал методы французской дипломатии в Греции [6, р. 237]. В действительности же «негодование» Англии было вызвано опасением того, что французское командование может установить единоличный контроль в Греции.

Англичане были более дальновидны и осторожны в своих действиях в греческом королевстве, в результате чего, как доносил Демидов, «инициативу стесняющих Грецию мер и король, и общественное мнение стали приписывать Франции» [13, № 123, с. 131]. Командующий английскими силами в Салониках генерал-лейтенант Б. Махон сообщал своему начальству, что «если два месяца назад греко-французские отношения были теплее, чем англо-греческие, то в результате действий Саррайля положение стало прямо противоположным» [6, р. 234].

В отличие от руководителей внешней политики Франции, которые не скрывали своего стремления вовлечь Грецию в войну, а также Англии, предпочитавшей действовать руками французов, правительства России и Италии придерживались иной точки зрения. Так, Россия, по словам Демидова, «ничего не имела против, если бы Греция осталась до конца войны в состоянии нейтралитета и не приняла бы участия в конгрессе мира» [14, д. 340, л. 13]. Она строила свои отношения с Грецией в зависимости от сохранения в силе греко-сербского договора. «Путь наш в Афины, — писал Демидов, — лежит через Белград. При тесном сплочении Сербии и Греции мы сможем с помощью первой воздействовать на последнюю и, пользуясь этим звеном, отвлечь внимание Греции от утопических ее замыслов на Востоке» [14, д. 340, л. 54].

Такие итальянские политики, как министр иностранных дел барон С. Соннино, итальянский посланник в Греции граф А. Боздари и некоторые другие, считали, что вступление Греции в войну не отвечает их плану и боялись возвращения к власти Венизелоса, с которым они связывали возможность получения Грецией компенсаций от держав Антанты в ущерб интересам Италии. «Можно не ошибаясь утверждать, — писал из Афин русский дипломат С. Урусов, — что ослабление Греции является если не прямой целью, то бесспорным вожделением Италии». Демидов объяснял это тем, что после оккупации итальянскими войсками Додеканеза к торгово-мореходному соперничеству, неприязни на экономической почве прибавилась вражда на почве национально-политической. Вопрос

о разделе Южной Албании «подлил масла в огонь», а судьба Малой Азии в равной мере взволновала оба эти государства [14, д. 3816, л. 39, 40]. Но, не имея своих сил в Салониках, ни Россия, ни Италия не могли изменить хода событий, а дипломатия этих государств вынуждена была оказывать моральную поддержку мерам, принимаемым союзниками в Греции в военных целях.

Политика Франции, направленная на усиление венизелистского движения в Греции, привела к дальнейшему обострению внутривнутриполитической борьбы в стране между сторонниками короля Константина и Венизелоса. Король, ставший почти полновластным хозяином страны, генштаб и правительство Скулудиса по-прежнему проводили политику вооруженного нейтралитета. На все требования союзников король отвечал, что «не делает ничего, что могло бы ослабить Германию» [2, д. 379, л. 40]. Он всячески стремился оказать Германии помощь и затруднить действия союзников. Так, Константин противился эвакуации сербской армии на о. Корфу [13, № 9, с. 7, № 459, с. 567].

«Роялисты» вели активную борьбу с постепенно крепнувшим движением сторонников Венизелоса. В Афинах действовала тайная полиция, непосредственно подчиненная дворцовым кругам. Созданная якобы для охраны короля, она по указке агентов барона фон Шенка, руководителя германской разведки в Греции, производила незаконные аресты венизелистов. В армии велась деятельная агитация против Венизелоса как главы антироялистского заговора [17]. В начале февраля 1916 г., когда правительству Греции стало известно о состоявшемся в Париже съезде греков-эмигрантов, на котором была принята резолюция, осуждающая политику правящих кругов Греции и выражающая надежду, что Греция скоро встанет на сторону Франции и Англии, король, желая нейтрализовать воздействие эмигрантских кругов на Грецию, подписал указ о мобилизации греков призывов 1892—1916 гг., проживавших за границей, за исключением тех, которые находились в России, Турции, Болгарии и Румынии [2, д. 379, л. 13, 38]. «В стране,— писал Демидов,— воцарился террор и создатель, если не „де юре“, то „де факто“ военное положение» [14, д. 340, л. 14].

Получив значительные субсидии от Франции, Венизелос, возвратившийся в Афины, основал воскресную газету «Кирикс», на страницах которой последовательно излагал свои взгляды на внешнюю политику Греции. Венизелос доказывал, что «своевременное вмешательство в войну отнюдь не привело бы страну к гибели, как то утверждает правительство» [14, д. 340, л. 25]. На политических митингах, происходивших каждое воскресенье в Афинах и Пирее, ораторы говорили также о политических выгодах, вытекавших из союза с державами Антанты, и указывали на необходимость вернуться к политике Э. Венизелоса [2, д. 379, л. 122].

Либералы решили участвовать в дополнительных выборах в парламент, чтобы доказать правительству, что они более, чем когда-либо, пользуются доверием народа [14, д. 340, л. 44]. Так, на Митилене, Хиосе и в Дrame кандидаты либеральной партии получили подавляющее большинство голосов [14, д. 3815, л. 135]. Однако о «народном доверии» Венизелос вряд ли мог говорить, так как выборы проходили в районах, контролируемых союзниками. Дополнительные выборы в парламент продемонстрировали готовность держав Антанты, и прежде всего Франции, поддержать Венизелоса. Но даже такой вывод не мог заставить короля изменить свою политику. **Главный редактор газеты «Эсперини», побывавший на аудиенции у короля, писал в передовой статье, что «король решится скорее рискнуть троном и жизнью, чем принять политику Венизелоса, противную убеждениям его величества и интересам Греции»** [14, д. 3815, л. 138]. Корреспондент «Нового времени» сообщал из Афин уже после выборов, что «положение в Греции становится все более критическим и дело поворачивается в сторону решительного кризиса» [18].

В ночь на 28 мая 1916 г. греческое командование сдало болгарам форт Рупель, являвшийся «ключом от обороны греческой Македонии», как ука-

зывали венизелестские газеты «Неа Эллас», «Патрис» и другие, вышедшие по этому поводу в траурной рамке [5, р. 363; 14, д. 38186, л. 159, 160, 164]. 2 июня на аудиенции у короля французскому посланнику пояснили, что король понимает «нейтралитет» как предоставление в Греции одинаковых прав обеим воюющим сторонам и что он не удивится, если военные действия союзников вызовут ответные меры германо-болгарских войск. Король Константин отказался дать распоряжение греческим войскам предпринять активные действия против болгар, на что рассчитывали французы [14, д. 3816, л. 66].

Категорический отказ греческого короля выполнять волю союзников осложнил положение англо-французских войск в Салониках, численность которых не позволяла оказать необходимый отпор быстрому продвижению германо-болгарских войск в районы Сереса и Каваллы. В связи с этим французское правительство предложило создать противодействующую силу в Греции в виде проантантовского правительства в Салониках во главе с Венизелосом, которое, организовав добровольческие отряды из греков, окажет союзникам помощь в их наступлении против болгаро-германских сил.

Предложение Франции, поддержанное Ф. Эллиотом, не встретило сочувствия в Лондоне, где все еще противились началу наступательных действий на Балканах в связи с занятостью английских сил на Ближнем Востоке. Так, начальник генштаба генерал В. Робертсон 28 мая распорядился, чтобы английские войска ограничивались чисто оборонительными действиями. Он же предлагал совсем ликвидировать Салоникский фронт. Но французское правительство решило оказать не только политическое, но и военное давление на Грецию. По распоряжению Саррайля в Салониках объявлялось об осадном положении, войска союзников заняли здания префектуры, почты, телеграфа, таможи и другие [19, р. 115, 116]. 7 июня была установлена частичная блокада греческого побережья.

Углублявшиеся разногласия между королем и Венизелосом, активизация французской политики в Греции вызывали беспокойство в английских правящих кругах. Еще в начале мая товарищ министра иностранных дел Великобритании лорд Р. Сесил выступил за более четкое определение внешней политики Англии в Греции. В письме к Э. Грею он высказывал мнение, что Англии не нужно ничего предпринимать, чтобы Греция вступила в войну, так как Франция сама заставит ее это сделать. Но если Англия не хочет этого, то необходимо, во-первых, определить более ясно свою позицию в отношении Греции, во-вторых, отказаться от поддержки Венизелоса. Он писал далее, что если Венизелос победит, то Греция обязательно вступит в войну и союзники будут обязаны помогать ей всеми силами. Если именно это отвечает английским интересам, то военный совет и Адмиралтейство должны готовиться к активным операциям на Балканах. Худшее в этой ситуации, если Англия будет не готова действовать на равных с Францией в операциях на Балканском полуострове [5, р. 332]. В свою очередь Ллойд Джордж и лидер консерваторов Бонар Лоу высказывались за совместные с Францией действия, направленные против прогерманской политики греческого короля и правительства. Постепенно эта группировка брала верх. 17 июня на военном совете было решено «привести короля и правительство (Греции. — *О. С.*) в чувство» [5, р. 370]. В конце июня в связи с улучшением для Антанты общей стратегической обстановки на главных фронтах (началом крупной операции русских войск на Юго-Западном фронте, ослаблением натиска войск противника под Верденом и началом операции англо-французских сил на Сомме) [20, с. 172, 163], а также объявлением Румынией о своем решении присоединиться к Антанте, Англия дала согласие начать наступательные операции из Салоник [21, р. 398, 399]. Вместе с тем английское правительство не давало Франции официального согласия на создание правительства Венизелоса в Салониках и возлагало большие надежды на благоприятный исход выборов в греческий парламент, которые в соответствии с ультимативными требованиями держав Антанты, предъявленными Греции в ноте от 31 июня,

были назначены новым кабинетом министров Греции во главе с А. Заимсом на август 1916 г.¹

В ходе подготовки к выборам в июле 1916 г. в греческом парламенте выделилась группа политических деятелей, сторонников держав Четверного согласия, не примыкавших к либеральной партии из-за слишком, на их взгляд, радикального внутривнутриполитического курса Венизелоса. По инициативе И. Драгумиса, бывшего греческого посланника в Петрограде, дружелюбно расположенного к России, и при поддержке со стороны российской дипломатии эта группировка была организована в новую партию «независимых». Е. П. Демидов писал новому министру иностранных дел России Б. В. Штюрмеру, что «умаление династического престижа едва ли соответствует нашим видам, а передача страны в руки полновластного ставленника англо-французов может стать с течением времени неудобной» [14, д. 340, л. 104, 105], так как с возвращением к власти Венизелоса «Греция могла рассчитывать на незаслуженные приобретения взамен сомнительной пользы ее запоздалого содействия» [14, д. 340, л. 122]. Поэтому Демидов предлагал российскому МИДу оказать поддержку партии «независимых», которая будет иметь программу по внешнеполитическим вопросам, дружественную державам Согласия, а по внутривнутриполитическим — антивенизеллистскую [14, д. 340, л. 125]. Правительство Великобритании также решило использовать в своих целях партию «независимых», но в отличие от российского правительства оно полагало, что новая партия должна существовать лишь непродолжительное время. Цель этой партии — «собрать как в фокусе» все проантантовские элементы в Греции, не являвшиеся в то же время венизеллистами, которые могли бы сотрудничать с либералами и, в конечном итоге, способствовать победе их курса и объявлению войны Центральным державам, а также к примирению короля и Венизелоса, который потом и возглавил бы правительство [14, д. 340, л. 130, 131].

Начавшееся 17 августа наступление германо-болгарских войск, ожидавшееся позднее, создало критическое положение на Салоникском фронте, которое не улучшилось и в результате контратаки союзников, предпринятой 20 августа. Германо-болгарские войска заняли Серес, Драму, а также греческие военные укрепления севернее Каваллы, одновременно окружив левый фланг сербо-французских позиций. Согласно сведениям, полученным союзными посланниками в Афинах, немецкое командование наметило дальнейшее наступление на Лариссу и Афины, целью которого было установление немецкого господства в Греции. Все это подтверждало, что греческий нейтралитет постепенно превращается во враждебный по отношению к державам Антанты.

Французское правительство решило прибегнуть к крайним мерам. В ночь на 1 сентября 1916 г. часть греческого гарнизона Салоник при содействии генерала Саррайля объявила о независимости Македонии от афинского правительства. Накануне переворота на рейде Пирея появилась союзная эскадра в 30 вымпелов в полной боевой готовности [7, № СХСVII, с. 104; 14, д. 38186, л. 258, 259], что ставило столицу Греции под угрозу пушек Антанты и являлось залогом бездействия греческого правительства. Венизеллистские депутаты с помощью англо-французских отрядов организовали противоправительственные мятежи на греческих островах Митилене, Самосе, Икари, Кандии [7, № ССXXI, с. 113].

От имени российского правительства Е. П. Демидов просил французского и английского посланников отказаться от намеченных мер, которые могли лишь оскорбить короля и поставить его и правительство в трудное положение [14, д. 340, л. 145], а также указывал, что вступление в войну Румынии на стороне Антанты и прекращение в связи с этим наступления войск противника на Салоникском фронте создавали благоприятную почву для переговоров с Константином о вступлении в войну Греции. Английское правительство заняло пассивную позицию, предоставляя полную свободу

¹ Наряду с этим, державы Антанты требовали демобилизовать греческую армию, образовать кабинет, который гарантировал бы соблюдение Грецией благожелательного отношения к державам Согласия нейтралитета, и т. д. А. Заимс полностью принял условия.

действий Франции, которая, как писал Демидов, «в качестве руководительницы союзнической политики в Греции... направляла, хотя и косвенным путем, страну к расколу и восстанию» [7, № ССХVII, с. 117, № ССXXXIV, с. 121]. Французская пресса разжигала неприязнь к греческому королю. Весьма характерным для умонастроений во Франции было мнение французского военного агента в Греции подполковника Бракэ, считавшего единственным способом урегулировать греческий вопрос — «посадить короля, королеву и всех дворцовых советников на военное судно и вывезти из страны до окончания войны» [14, д. 341, л. 9]. В отличие от русского и английского правительств, полагавших, что новый кабинет министров во главе с Н. Калогеропулосом, образованный 18 сентября 1916 г., не соответствует обязательствам, принятым Грецией в ответ на ноту союзников от 8 июня 1916 г., Франция открыто поддержала его, заявляя о предпочтительности кабинета, «который развязывал руки союзникам». В своих действиях французская дипломатия и вместе с ней Венизелос руководствовались положением «чем хуже, тем лучше» [22, с. 113; 7, № ССХVII, с. 117, № ССXXXIV, с. 121]. Стремясь сохранить единство в Греции, английское правительство потребовало от короля образовать кабинет, устраивавший всех союзников, и объявить войну Болгарии не позже 1 октября 1916 г. Э. Грей, обеспокоенный возможностью переворота и свержения Константина, особо подчеркивал, что эти требования не направлены против короля, а наоборот должны укрепить его династию [5, р. 402, 404; 7, № ССХVI, с. 116, № ССХXIX, с. 119]. Саррайль не поддержал требования Англии, так как предпочитал сотрудничать не с греческой армией, во главе которой находился прогермански настроенный генштаб, а с добровольческими отрядами Венизелоса [7, № ССXXXIV, с. 121]. Английский посол в Париже Ф. Берти с возмущением писал, что «в Англии даже после захвата болгарскими Каваллы все еще были люди, готовые защищать Константина» [22, с. 112].

13 сентября Венизелос обратился к адмиралу П. Кундуриотису, герою балканских войн, пользовавшемуся большой популярностью в Греции, с призывом сформировать временное правительство из депутатов, избранных в июле 1915 г. в греческий парламент, роспуск которого он считал антиконституционным актом, и мобилизовать армию для борьбы совместно с союзниками против Болгарии [7, № ССXXX, с. 119]. Получив согласие адмирала, Венизелос отбыл 25 сентября 1916 г. на о. Крит, где 26 сентября сформировал временное правительство, а на следующий день, по инициативе Англии, обратился с «Воззванием к эллинскому народу», в котором указывалось, что его правительство якобы было создано в результате «национального движения» и преследовало «освободительные» цели, а также призвал Константина «встать во главе национального движения», сохранив таким образом, единство страны, и присоединиться к Антанте, угрожая в ином случае «прибегнуть к революционным средствам» [15, д. 340, л. 175]. Однако Константин не откликнулся на призыв венизелитов и не поддержал большинство членов афинского кабинета Карагелопулоса, высказывавшихся за вступление Греции в войну, в результате чего министры подали в отставку. Новое правительство во главе с восьмидесятилетним профессором Афинского университета С. Ламбросом объявило о политике вооруженного нейтралитета. «Выбор королем лиц, совершенно не известных и не имеющих никакого веса в стране, в минуту подобного национального кризиса, — доносил Демидов, — является лучшим доказательством неизбежности его воли удержать политический курс Греции в прежней колее» [14, д. 341, л. 32].

Венизелитами при поддержке западных держав была широко развернута мнимопатриотическая пропаганда, прикрывавшая захватнические цели греческой буржуазии. В Салониках повсюду были расклеены воззвания, призывавшие «защитить отечество от болгаро-германских захватчиков»; был создан комитет национальной обороны, к которому постепенно стали присоединяться отдельные части греческой армии и добровольцы, увлеченные лжепатриотическим подъемом и шовинистической пропагандой. Германия чинила различные препятствия созданию добровольческой

проантантовски настроенной армии. Так, 29 октября 1916 г. был потоплен греческий пассажирский пароход «Ангелики», следовавший из Пирея в Салоники, на котором находились добровольцы. Несколько десятков человек погибло. Вскоре германские подводные лодки потопили и греческий пароход «Кики Иссайя», на котором также находились добровольцы, следовавшие в Салоникский лагерь. В ответ на это союзники заявили, что суда, перевозящие добровольцев, будут сопровождаться миноносцами [14, д. 341, л. 87—90]. К концу октября силы «национальной обороны» составили 20 тыс. солдат и 700 офицеров, добровольно завербовавшихся в разных районах Греции, в Малой Азии и даже в Америке [5, р. 419].

В связи с тем, что затяжной кризис в Афинах крайне губительно отражался на действиях союзников на всем балканском театре войны (успешное наступление русской и румынской армий было невозможно без одновременного продвижения на север армий генерала Саррайля, который отказался перейти в наступление), «военный комитет», который теперь фактически руководил всей политикой Англии, во главе с Ллойд Джорджем выступил за признание правительства Венизелоса. При активном воздействии Бонара Лоу и Ллойд Джорджа английское общественное мнение требовало поддержки венизелистов. Так, газета «Манчестер Гардиан» отмечала, что вся балканская политика союзников с самого начала страдала нерешительностью, а «попытка гнаться за двумя зайцами (под этим подразумевалась политика лавирования, которую проводил в Греции Э. Грей. — *О. С.*) является ни чем иным, как дурной традицией», от которой газета предлагала отказаться [2, д. 378, л. 67]. Именно этого добивался и Ллойд Джордж на межсоюзнической конференции в Париже 15 ноября 1916 г., заявив, что, хотя конечной целью союзников остается примирение короля и Венизелоса, общественное мнение Англии требует официального признания правительства Венизелоса. Из-за твердой позиции А. Бриана, выступавшего против признания Венизелоса в данный момент, союзники сошлись на том, что они не упустят случая оказать помощь Венизелосу [23, с. 620, 621].

Английское правительство потребовало от Франции прекращения начатых по инициативе греческого короля переговоров между французским депутатом П.-А. Беназе и дворцовыми кругами Греции, так как требование короля об отказе в помощи Венизелосу было неприемлемо для союзников. Тем не менее французское правительство заключило соглашение с Константином, которое, однако, оказалось недолговечным, так как после разгрома Румынии король, ожидавший приближения германских сил и стремившийся помочь им, отказался выполнять требования союзников о разоружении греческой армии, доведения ее численности до состава мирного времени, передаче военных материалов союзникам и так далее [5, р. 432; 7, № СС XXXVII, с. 148].

В связи с отказом афинского правительства выполнять условия этого соглашения, а также после объявления правительством Венизелоса 23 ноября 1916 г. войны Болгарии и Германии и присоединения греческих добровольческих отрядов к военным операциям армии генерала Саррайля союзниками были предприняты меры, ставившие Грецию почти в полную зависимость от Англии и Франции. Был введен контроль над снабжением хлебом и мукой Фессалии, удалены посольские и консульские представители Центральных держав, греческие войска выведены из областей, где находились союзники, создана нейтральная зона между территориями, контролируемые войсками короля и Венизелоса [14, д. 341, л. 101, 104, 106, 108 и далее].

В октябре греческое правительство получило ноту командующего союзным флотом адмирала Дартижа дю Фурне о секвестре греческого флота, который за три дня до вручения ноты был блокирован союзным флотом на Салоникском рейде [24, с. 272—275]. Знаменательно, что Константин обратился к главе английской морской миссии в Греции адмиралу А. Палмеру с предложением принять на себя командование греческими военно-морскими силами, надеясь, таким образом, дать союзникам гарантию безвредности для них греческих морских сил и избежать секвестра, однако

Палмер отказался. На следующий день, как сообщал Демидов, греческий флот был разоружен, после чего «подошли французские миноносцы, сопровождаемые буксирами, которые, перекинув канаты на греческие суда, повлекли их на рейд Каратсини». Так совершилась «молчаливая и пассивная передача целого флота в руки иностранцев» [14, д. 341, л. 50—54]. В результате мер экономического, политического и прямого военного давления не только греческий флот, но и вся дальнейшая политика Греции были взяты на буксир союзной дипломатией.

Безнаказанное хозяйничанье держав Антанты в Греции вызвало недовольство в королевской Греции, особенно среди высшего офицерства, которое после вручения правительству Ламброса ультиматума о сдаче союзникам 10 батарей горных орудий и всех военных материалов² заявило, что не подчинится требованиям союзников даже в случае приказа короля. К 30 ноября 1916 г. в Афинах собралось более 200 тыс. человек, город превратился в вооруженный лагерь. Король под нажимом своих советников отказался удовлетворить указанные требования союзников, в ответ на что 1 декабря англо-французские войска в количестве 3 тысяч человек высадились в Фалироне и в Пирее с намерением оккупировать отдельные стратегические пункты в Афинах и вынудить королевское правительство покориться³. Однако союзнические войска оказались в окружении. Через два часа завязался бой, англо-французские орудия обстреливали Афины. Однако перевес сил был на стороне греческих войск. Король предложил союзникам компромиссное соглашение о передаче им 6 горных батарей. 2 декабря англо-французские войска покинули Афины. Союзники потеряли 194 человека убитыми и ранеными, греки — 62, включая жертвы среди мирного населения [5, р. 436]. С удалением союзных отрядов из Афин события в Греции стали принимать форму гражданской войны. Бои между роялистами и венизелитами продолжались с прежней силой. Сторонники короля заявили о своем решении искоренить венизелитизм в Старой Греции [24, с. 253, 258]. В свою очередь, Венизелос готовился к походу на Афины. В распоряжение Саррайля были переданы две греческие дивизии для возможных операций против королевской армии [5, р. 438; 439; 7, № ССХСІ, с. 151]. Правящие круги Греции попытались представить дело так, что «и Греция, и державы Согласия явились жертвой преступной группы „венизелитов“», а правительственные газеты заговорили о чувствах уважения и симпатии к «защитникам и освободителям Греции» [14, д. 3818, л. 386]. Маневр короля не имел успеха у союзников, так как после событий 1—2 декабря всякое доверие к Константину было подорвано. Хотя греческий король в письмах к друзьям уверял, что он «нисколько не изменил решения остаться нейтральным» и был возмущен подозрениями держав Антанты [25, р. 167], перехваченные письма греческой королевы Софьи к кайзеру от 6 декабря подтвердили, что подозрения были не напрасными и что король действительно собирался присоединиться к германскому наступлению в Македонии и лишь выжидал подходящего момента [5, р. 443]. Англия выступила за предъявление Греции нового ультиматума о выведении всех греческих войск на юг Пелопоннеса, установлении строгой блокады всего побережья Греции. Лондон предлагал даже разрушить железную дорогу Афины — Ларисса, атаковать с воздуха важные пункты в Лариссе и других районах. Несмотря на принятие правительством Ламброса ультиматума Антанты, англо-французские войска, действуя совместно с подразделениями добровольческой армии Венизелоса, заняли почти все острова в Эгейском море (произведя там смену властей), а также ряд стратегически важных районов Старой Греции. Союзники отказались отменить блокаду, пока не будут выполнены все условия ультиматума.

Такая эволюция во внешней политике Англии, по словам российского посла в Лондоне А. Бенкендорфа, «была быстрой, и смена кабинета сде-

² Ультиматум, срок ответа на который истекал 1 декабря 1916 г., был предъявлен 24 ноября.

³ В связи с тем, что Россия не одобрила политики союзников в греческом вопросе, русские войска не участвовали в высадке десанта в Афинах.

лала ее еще более быстрой» [7, № CCCVII, с. 159]. 5 декабря 1916 г. либеральное правительство Асквита, обнаружив неспособность продолжать войну с полной отдачей сил, ушло в отставку. Новый премьер-министр Англии Ллойд Джордж выдвинул лозунг войны до полного разгрома Германии и разработал план перенесения военных действий на Юго-Восточный и Балканский фронты, которые, по его мнению, были слабейшим местом Центральных держав, а непонимание этого — причиной неудач союзников до сих пор [23, с. 562, 671]. Обвиняя английскую дипломатию в «трусости и нервозности», Ллойд Джордж видел залог успеха «в смелой дипломатии, поддержанной хорошей стратегией и эффективными действиями». Он предлагал проводить более жесткий курс в отношении греческого короля, считая, что Константин кругом «одурачил» союзников и сделал их посмешищем Востока, пока они «вели адвокатскую переписку с его военными руководителями» [23, с. 605]. 27 декабря на союзнической конференции в Лондоне английский премьер-министр отказал французскому правительству в просьбе предоставить генералу Саррайлю полную свободу действий, но согласился послать в Салоники дополнительно 36 тыс. человек при условии, что Франция не будет предпринимать на Салоникском фронте не согласованных с Англией действий. На конференции было также решено формально признать правительство Венизелоса [5, р. 446].

Дальнейшая политика западных держав в Греции была направлена на низложение короля, передачу власти Венизелосу и вступление Греции в войну на стороне Антанты. Однако английские правящие круги, стремившиеся превратить греческое королевство в плацдарм для их дальнейшей экспансии на Ближний Восток, а также укрепить свои позиции в районе Средиземного и Эгейского морей, предпочитали придерживаться традиционных методов политики — «таскать каштаны из огня чужими руками», в данном случае с помощью Франции. В результате этого французскому правительству приписывалась инициатива всех действий союзников, которые нарушали суверенитет греческого государства.

Пример Греции, отмечал В. И. Ленин на I Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов в июне 1917 г., еще раз ясно и наглядно продемонстрировал империалистическую сущность первой мировой войны [26, т. 25, с. 12]. Империалистические державы, стремившиеся во что бы то ни стало привлечь Грецию на свою сторону, не остановились перед прямым вторжением в страну, после дезорганизацией ее политической и экономической жизни. Ови, как писал В. И. Ленин, «морили голодом целую страну, целый народ, чтобы „давлением“ заставить ее переменить политику» [26, т. 32, с. 258, 259].

Летом 1917 г. англо-французская дипломатия достигла намеченной цели, вынудив греческого короля Константина отречься от престола в пользу его второго сына — принца Александра, обещавшего проводить проантантовскую политику. Буржуазно-либеральная партия во главе с Венизелосом, вновь оказавшаяся у руля греческой политики, вовлекла страну в мировую войну. 150 тысяч греческих солдат сражались на Салоникском фронте во имя интересов империалистических правительств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Λαμπρινός Γ. Ἡ Μοναρχία στὴν Ἑλλάδα, Ἀθήνα, 1965.
2. Архив внешней политики России. (Далее — АВПР), ф. Отдел печати и осведомления.
3. Seligmen V. J. The Victory of Venizelos. A Study of Greek Politics. 1910—1918. London, 1920; Γρηγοριάδης Ν. Ἡ Ἐθνικὴ Ἀγώνα Θεσσαλονίκης τοῦ 1916. Ἀθήνα, 1960.
4. Abbott G. B. Greece and the Allies. 1914—1922. London, 1922; Frangulis A. F. La Grece et la Crise Mondiale. V. 1, 2. Paris, 1926; Hibben P. Constantine I and the Greek People. New York, 1920.
5. Leon G. B. Greece and the Great Powers. 1914—1917. Thessaloniki, 1974.
6. Theodoulou Ch. A. Greece and the Entente. Thessaloniki, 1974.
7. Европейские державы и Греция в эпоху мировой войны. По секретным документам бывшего МИД с приложением копий дипломатических документов. М., 1922.
8. Зайончковский А. М. Мировая война. 1914—1918. М., 1924; Корсуи Н. Г. Балканский фронт мировой войны. 1914—1918. М., 1941.
9. Емец В. А. Позиция России и ее союзников в вопросе о «помощи» Сербии осенью

- 1915 г.— Исторические записки, 1965, т. 75; *Емец В. А.* Очерки внешней политики России. 1914—1917. М., 1977.
10. *Нотович Ф. И.* Разгром Сербии в 1915 г. и «помощь союзников». — Красный архив, 1934, т. 4—5; *Писарев Ю. А.* Сербия и Черногория в первой мировой войне. М., 1968.
 11. АВПР, ф. Политархив 1915.
 12. АВПР, ф. Канцелярия.
 13. Международные отношения в эпоху империализма. Документы из архивов царского и Временного правительств. 1878—1917. Сер. III, т. X, М., 1938.
 14. АВПР, ф. Политархив 1916.
 15. *Callwell C.* Field-Marshal Sir Henry Wilson. His Life and Diaries. London, 1927.
 16. *Nicolson H.* King George the Fifth. His Life and Reign. London, 1952.
 17. Daily News, 1916, 31 I.
 18. Новое время, 1916, 22 V.
 19. *Robertson W.* Soldiers and Statesmen. 1914—1918. V. 2. London, 1928.
 20. История первой мировой войны. 1914—1918 гг. Т. 2. М., 1975.
 21. *Smith C.* The Russian Struggle for Power. 1914—1917. New York, 1956.
 22. *Лорд Берти.* За кулисами Антанты. М.—Л., 1927.
 23. *Ллойд Джордж Д.* Военные мемуары. М., 1934.
 24. Βεντάρης Γ. Η Έλλάς τῶν 1910—1920, τ. 2. Ἀθήναι, 1931.
 25. A King's Private Letters. London, 1925.
 26. *Ленин В. И.* Полн. собр. соч.



ДУМИН С. В.

К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЛЕННОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ В РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ В XVII ВЕКЕ

(Смоленское воеводство в земельной политике династии Вазов)

Землевладение на ленном праве, широко распространенное в Западной Европе, в средневековой Польше было редким явлением. Для Великого княжества Литовского, напротив, до середины XVI в. были типичны именно различные формы условного землевладения. Но, как известно, Люблинская уния 1569 г. окончательно подтвердила и за шляхтой Великого княжества аллодиальные права на все фактически принадлежавшие ей земли [1]. Хотя отдельные пережитки условного землевладения в Великом княжестве Литовском продолжали существовать (в частности, король продолжал считать себя верховным собственником имений литовских татар, в связи с чем сохранялась их своеобразная вассальная зависимость от короля и обязанность военной службы по первому его требованию) [2, ед. хр. 569— ревизия татарских имений 1631 г.], до начала XVII в. эта форма владения землей в общем не привлекала сколько-нибудь пристального внимания королевской власти. Ленное землевладение существовало в некоторых украинских старствах, где на мелких ленных землевладельцев — так называемых лсманов — была возложена обязанность военной службы, обороны пограничных крепостей [3]. Активно применялось ленное право лишь на территории Ливонии, где Сигизмундом II Августом и его преемниками было сохранено господствовавшее там ленное землевладение и где на тех же условиях король жаловал землю как местным, так и польско-литовским феодалам и другим лицам [4; 5, с. 86—87].

Программа широкого использования ленного права возникла у королевского правительства и в связи с захватом феодалами Речи Посполитой западных русских уездов. В данной статье предпринята попытка рассмотреть ход и результаты реализации этой программы на территории Смоленского воеводства, вошедшей в состав Великого княжества Литовского. Напомним, что в 1618 г., после подписания Деулинского перемирия, воеводство делилось на Смоленский и Стародубский поветы, включавшие соответственно Смоленщину и часть Северщины (южная часть Северной земли вошла в состав Киевского, а в 1635 г. образовала Черниговское воеводство Короны), кроме того, в Смоленский повет до 1638 г. входили Невельский, Себежский и Красногородский уезды (затем присоединенные к Полоцкому воеводству). Территория воеводства сократилась в 1634—1645 гг. в результате возвращения России Серпейского и Трубчевского уездов, а уже в 1654 г. все эти земли вновь вернулись в состав Российского государства. Но несмотря на кратковременность существования воеводства, процессы, протекавшие на его территории, представляют значительный интерес для историка; особого внимания при этом заслуживает своего рода эксперимент королевского правительства по созданию в воеводстве,

фактически впервые в Речи Посполитой, развитой системы ленного землевладения.

Сам факт распространения ленного землевладения в Смоленском и Черниговском воеводствах давно известен историкам, прежде всего из сеймовых конституций и отдельных опубликованных привилеев на ленные имения [6; 7; 8]. Сведения о ленном землевладении на этой территории приводятся и в некоторых обобщающих трудах. Особого внимания заслуживает упоминание о нем в «Истории государства и права Польши», где справедливо констатируется, что массовая раздача шляхте ленных имений на Смоленщине и Северщине должна была «обеспечить господство польских феодалов на восточных землях» [9].

Довольно много внимания уделено ленному праву на территории Смоленского воеводства в XIII томе «Балто-славянских актов» [10, s. 145—185] в связи с изучением посполитого рушения смоленской шляхты в XVII в.; рассмотрены и основные условия владения шляхтой ленными имениями, вытекающие из сеймовых конституций, инструкций Сигизмунда III и нескольких подлинных привилеев на ленные имения, сохранившихся в архивах ПНР. Высоко оценивая данную работу и признавая вполне квалифицированным разбор упоминавшихся выше документов, следует все же выразить сожаление, что в статье не использованы книги Литовской метрики, содержащие копии всех привилеев на ленные имения и других документов, относящихся к Смоленскому воеводству. Как будет показано ниже, эти источники, в основном подтверждающие имеющиеся в литературе высказывания об условиях пожалования шляхте ленных имений, позволяют выявить различные варианты ленного владения, дают возможность лучше судить о правах их владельцев. Кроме того, рассматриваемые как массовый источник, привилеи позволяют судить о ходе, масштабах и конечных результатах раздачи ленных имений на указанной территории. Эти проблемы в историографии не изучены или изучены явно недостаточно, а между тем, вопрос о ленном землевладении в Смоленском воеводстве далеко выходит за рамки региональной проблемы, позволяя выявить некоторые важные черты политики королевской власти в исследуемый период.

Как справедливо заметил Б. Н. Флоря, в ходе интервенции начала XVII в. господствующий класс Речи Посполитой стремился превратить русские земли «в объект для польско-литовской феодальной колонизации» [11]. Деулинское перемирие 1618 г. продемонстрировало крах попытки подчинить Русское государство. Но еще до того, как стал окончательно ясен исход многолетней войны, в 1613 г., сейм декларировал создание в составе Великого княжества Смоленского воеводства [12, t. III, s. 95—97]. По всей вероятности, этот акт следует оценивать как своего рода программу-минимум, разработанную в условиях, когда возможность осуществления экспансии в более широком масштабе стала весьма проблематичной.

Предоставив королю право раздавать земли нового воеводства по своему усмотрению «шляхтичам народа польского и литовского, а также людям народа московского», конституция 1613 г. явилась, следовательно, своеобразным компромиссом между различными группами феодалов Речи Посполитой, компромиссом, учитывавшим интересы и многочисленных сторонников Сигизмунда III из числа русских дворян.

Конституция не определила условий раздачи, предоставив это королю. Была лишь оговорена обязанность всех владельцев имений являться на службу во время войны. За нарушение этого и других условий владения, сформулированных королем в его привилеях, предусматривалась конфискация имений.

В период военных действий случаи раздачи шляхте имений в русских уездах нам неизвестны, хотя с 1610 г. от имени «царя Владислава» поместья и вотчины раздавались его русским сторонникам [13]. Фактически к созданию на этой территории шляхетского землевладения правительство Сигизмунда III приступило лишь после подписания перемирия, т. е. после определения границ земель, оставшихся под контролем Речи Посполитой.

В 1619 г. в Смоленск прибыли комиссары, вооруженные инструкцией Сигизмунда III. Одной из важнейших задач, возложенных на них, стал учет всех земель нового воеводства, в подавляющем большинстве ставших выморочными из-за ухода в Россию местных дворян, и их перераспределение.

Инструкцией было предусмотрено сохранить за духовенством, признавшим унию, часть его владений; другие церковные земли вместе с дополнительными пожалованиями передавались вновь созданному католическому епископству и монастырям. Часть остальных земель воеводства превращалась в столовые имения королевича Владислава, часть предназначалась на содержание воеводы, старост, гарнизонов, на ремонт и другие нужды крепостей. Лишь меньшую часть бывших вотчин и поместий русских дворян король приказал раздать на ленном праве шляхте и служившим ему или королевичу русским дворянам с обязанностью военной службы во время войны. Кроме того, земли на том же условии должны были получить казаки («донцы»), пушкарки и другие служилые люди. Предусмотрено было и выделение земель городам. Все пожалования, осуществленные комиссарами, подлежали утверждению королем [14] (см. также [10, с. 147]).

Таким образом, инструкция 1619 г. определила основную форму раздачи имений воеводства: в ленное владение с обязанностью военной службы. Это санкционировала и конституция 1620 г., подтвердив право короля раздавать земли воеводства в пожизненное или ленное владение не только названным выше лицам, но и выходцам из Ливонии (сторонникам Сигизмунда III, покинувшим земли, захваченные шведами) [12, т. III, с. 179].

Конституции 1613 и 1620 гг., как и инструкция 1619 г., предусматривали также возможность признания за шляхтой смоленских и северских имений предков при условии предоставления достаточных доказательств права на эти имения. При этом король сохранил за собой право окончательного решения. В 20-е годы XVII в. отдельные попытки шляхты доказать «старые права» имели место [2, ед. хр. 99, л. 597]. В 1629 г. королевские комиссары признали за Яном Хроловским и его сыновьями право на имение Хролово в Смоленском уезде, но поскольку оно было присоединено к владениям смоленского воеводы, Хроловские получили в компенсацию 30 волок (напомним, 1 волока = около 21,35 га) в том же уезде, что подтвердил и король [2, ед. хр. 108, л. 504 об. — 505 об.]. В 1635 г. П. Шатихин получил привилей с подтверждением наследственного права на имение в Смоленском уезде, которым, по свидетельству старых литовских переписей, владели его предки, и которое они сохраняли и после присоединения Смоленска к Русскому государству. При этом Шатихин, как и его предки, должен был служить в Смоленске «рассыльщиком», т. е. возить письма короля и воеводы [2, ед. хр. 108, л. 416—417]. Кроме того, были признаны наследственные права и нескольких русских дворян или их потомков, проживавших в Великом княжестве Литовском. Например, дети сына боярского П. М. Халютина, родившиеся в Великом княжестве (где они именовались Халютиными-Колечицкими), в 1634 г. получили взамен поместья отца, уже присоединенного к Рославльскому староству, ленное пожалование в Смоленском уезде [2, ед. хр. 110, л. 328 об. — 329 об.]. Ссылка на пожалование Сигизмунда I имеется и в привилее 1633 г. на село в том же уезде смоленскому униатскому архиепископу [2, ед. хр. 108, л. 16].

Кроме того, согласно инструкции 1619 г., все русские дворяне, владевшие в воеводстве имениями и оставшиеся на королевской службе, утверждались во владении или получали равноценные пожалования, а выходцы из других русских уездов — компенсацию за оставленные там вотчины и поместья, также на ленном праве.

Некоторые русские дворяне представляли грамоты, выданные им еще в Москве от имени Владислава. Хотя эти документы принимались во внимание (тем более, что королевич был утвержден администратором воеводства и в соответствии с инструкцией 1619 г. сохранял право надзора за действиями комиссаров), они также подлежали утверждению комиссарами

и королем. При этом бывшие поместья и вотчины как правило также переходили в разряд ленных имений. На этом основании, например, получил в вечное ленное владение некоторые деревни в Дорогобужском уезде дьяк В. О. Янов, который у королевича «в русских делах был печатником» [2, ед. хр. 97, л. 267—267 об.].

Любопытно, что король рекомендовал комиссарам выделять земли выходцам из России как можно дальше от границы, по-видимому, не слишком доверяя большинству своих союзников.

При раздаче земель шляхте пожалования предоставлялись в первую очередь участникам войны, лицам, служившим в королевской армии, которые в своей петиции 1618 г. напомнили королю о его обещании награждать их за службу землями [2, ед. хр. 95, л. 1—2 об.], а также упоминавшимся выше выходцам из Ливонии. Из 345 человек, в 1620—1622 годах получивших индивидуальные привилегии на имения, 89 были смолянами или выходцами из других русских уездов, 35 — ливонцами [2, ед. хр. 96—97].

Согласно инструкции короля, комиссары детально разработали условия владения, и привилегии, подтверждающие их пожалования, содержат развернутую формулу, определяющую права и обязанности владельцев имений. В качестве примера рассмотрим привилегии Сигизмунда III 6 января 1621 г. дворянину И. Е. Лыкошину [2, ед. хр. 97, л. 14—15].

За свою службу (он был с королевскими войсками в осажденной Москве) Лыкошин получил д. Грышково в Смоленском уезде, частью которой прежде владели он и его дядя, а частью — Д. Потемкин и Ф. Неелов, а взамен других своих деревень в том же уезде — 2 деревни, принадлежавшие ранее И. Четову. Кроме того, он получил участок в Смоленске и огород на посадке. В привилегиях такого типа имения жаловались обычно в «старых границах». Но уже в 1620 г. в воеводстве была начата вслочная помера, и вскоре в большинстве привилегий стал указываться размер пожалований в волоках.

Имение жаловалось ему, его жене и потомкам мужского пола в вечное ленное владение «как шляхетские имения, под правом и вольностью шляхетской». Пожалованный мог отчуждать свои земли, но лишь после получения от короля особого разрешения — консенса и с условием выполнения новым владельцем тех же обязанностей.

Для обороны крепости — центра уезда, где находилось имение, — пожалованный должен был построить дом на выделенном ему участке в городе и жить там лично или держать вооруженного мушкетера «подборника» на случай внезапного нападения. Во время войны сам владелец обязан был явиться конным или пешим, в зависимости от характера службы, приведя с собой столько челяди, сколько сможет. Не имея возможности прибыть лично, он был обязан выставить на свое место другого шляхтича. В этом и некоторых других привилегиях владельцу вменялось в обязанность держать в крепости запас продовольствия на полгода на случай осады.

В рассмотренном привилегии отсутствует типичное для большинства остальных запрещение владельцу имения добывать селитру и производить «лесные товары» (золу, поташ, древесину) без специального разрешения короля. Эта королевская монополия действовала на протяжении всего исследуемого периода, но с 30-х годов XVII в. соблюдалась менее строго, и подобные разрешения (обычно на короткий срок) предоставлялись отдельным феодалам воеводства нередко [15].

Формула, примененная в Смоленском воеводстве, явно восходит к ливонскому образцу. Это типичный «строгий лен», «мужской лен», который в отличие от более привилегированных видов ленных владений мог передаваться по наследству только по прямой мужской линии. При этом ни дочери, ни другие родственники владельца права наследования не имели, а для отчуждения имения требовалось разрешение короля. «Строгий лен» сохранял возможность возвращения сеньору розданных имений. Как и пожизненное ленное владение, также распространенное в Ливонии в конце XVI — начале XVII в., «строгий лен» усиливал зависимость пожалованных от королевской власти, и отнюдь не случайно в начале XVII в.

на территории Ливонии в связи с конфискацией Сигизмундом III имений шведских сторонников и раздачей их другим лицам происходит массовый перевод в этот разряд привилегированных ленных владений [5, с. 81, 86—87]. По-видимому, «строгий лен» уже на территории Ливонии был признан королем оптимальной формой ленного пожалования и в этом качестве принят за образец при создании системы ленного землевладения на захваченных в начале XVII в. русских землях.

Устраняя женщин от наследования, правительство руководствовалось, очевидно, в первую очередь военными соображениями. Единственное известное нам исключение — привилей 2 января 1621 г. воеводе Дорогобужа Д. М. Хрипунову-Дубенскому, признавший наследницей имений его единственную дочь, с тем, однако, чтобы после нее наследовали только дети мужского пола. Но вдовы сохраняли имения в пожизненном владении, хотя и с обязанностью выставлять шляхтича-заместителя. Вторично выйдя замуж, бездетная вдова могла получить от короля разрешение передать имение в вечное ленное владение новому мужу [2, ед. хр. 97, л. 19—20 об.; ед. хр. 108, л. 557 об.—558, 568—568 об.].

Ленное землевладение с полным основанием может быть признано господствующим на рассматриваемой территории. Лишь как исключение отметим немногочисленные случаи пожалования в пожизненное владение (в отличие от Ливонии в воеводстве пожизненные лены не получили распространения), а также сохранение вотчинных прав несколькими феодалами русского происхождения (Салтыковыми, кн. Трубецкими, Ю. Ф. Потемкиным) [2, ед. хр. 97, л. 22—24, 40—40 об., 43 об.—44 об., 360] и приобретение таких прав по конституциям 1631 и 1649 гг. А. Гонсевским и Я. Радзивиллом [12, t. III, s. 326; t. IV, s. 149]. Такие имения, приравненные к обычным шляхетским, могли передаваться потомству обоего пола, свободно отчуждаться. Но и их владельцы были обязаны участвовать в обороне городов, строить там дома и держать слуг, т. е. выполняли те же обязанности, что и владельцы ленных имений.

Видимо, первоначально пожалования на ленном праве не вызвали у шляхты особого энтузиазма. Желających принять земли в пограничном районе, разоренные войной и отягощенные повинностями, оказалось не так уж много. Об этом косвенно свидетельствует универсал Сигизмунда III от 27 марта 1626 г., призывавший шляхтичей, способных нести военную службу, переселяться в Смоленское воеводство, где им были обещаны имения на ленном праве; призыв этот мотивирован тем, что «земли Смоленского воеводства, обширные и пригодные для использования, из-за отсутствия людей и хозяйств дичают, пустеют и зарастают лесом» [2, ед. хр. 99, л. 589 об.—590]. Судя по всему, универсал был рассчитан, прежде всего, на мелкую и безземельную шляхту Великопольского княжества (он вышел из литовской канцелярии). Как следует из привилеев лицам, получившим землю после 1626 г. в соответствии с этим универсалом, размеры пожалований были невелики — обычно от 6 до 8 волок на человека [2, ед. хр. 108, л. 68 об., 193, 470]. Такое имение на ленном праве вряд ли могло заинтересовать «оседлого» шляхтича.

Но Литовская метрика зафиксировала и передачу отдельным феодалам огромных земельных комплексов. Боярин кн. Ю. Н. Трубецкой в 1621 г. получил привилей на вечное наследственное владение принадлежавшей ранее ему, его брату и дяде половиной г. Трубчевска и уезда; вторая половина почти целиком была передана ему же в управление «до воли и ласки» короля. При этом Трубецкой должен был держать в крепости 15 человек, вооруженных мушкетами, и оказывать содействие командиру размещенного в крепости королевского отряда [2, ед. хр. 97, л. 40—40 об., 49 об.—50]. В 1634 г. на тех же условиях эти владения перешли к его сыновьям, но уже в 1635 г. П. Ю. Трубецкой получил королевскую часть уезда в вечное ленное владение [2, ед. хр. 108, л. 161—161 об., 435—435 об.] Д. Керло в 1629 г. получил в вечное ленное владение г. Почеп с уездом; он должен был соорудить в городе укрепления и держать гарнизон [2, ед. хр. 99, л. 610 об.—611]. Огромные владения в Смоленском и Бельском уездах (до нескольких сот кв. км) в результате пожалований

и земельных сделок с другими владельцами ленных имений (А. Зборовским, В. Джебевским, В. Апельманом, М. Гонсевским) сосредоточились к 1631 г. в руках А. Гонсевского [2, ед. хр. 103, л. 169—174 — описание владения].

Показательны итоги предпринятой нами статистической обработки данных об измеренных в волоках пожалованиях Сигизмунда III в 1623—1629 гг. и Владислава IV в 1633—1636 гг. в Смоленском воеводстве [2, ед. хр. 99—102, 108, 110].

В 1623—1629 гг. привилеи на имения общей площадью 8782 волоки получили 305 человек. В это число не вошли единичные привилеи, где площадь земель не указана; по той же причине, к сожалению, не могли быть учтены упоминавшиеся выше пожалования 1620—1622 гг. (дополнительно к ним в 1623—1629 гг. и позже многие из пожалованных получили и измеренные имения).

В 1633—1636 гг. 348 шляхтичам было роздано 29 252 волоки. Кроме того, в 1633 г. гетман К. Радзивилл получил в вечное ленное владение города Невель и Себеж с их уездами (за исключением земель, ранее розданных там другим лицам) [2, ед. хр., 108, л. 32—33 об., ед. хр. 110, л. 54—55]. Уже в 1649 г. сеймовая конституция утвердила его сына гетмана Я. Радзивилла в вотчинном владении ими [21, т. IV, с. 149].

В 1623—1629 гг. пожалования в 100 и более волок одному лицу составили лишь 3,3% всех пожалований. Их получили 10 человек: кн. Ян Друцкий-Соколинский — 400 волок, Ян Пасек — 316, владения остальных не достигали 200 волок.

В 1633—1636 гг. пожалования 100 и более волок составили уже 27,9%. Их получили 97 человек, в том числе кн. З. К. Радзивилл — 1100 волок, А. Казановский, З. Казановский, М. Абрамович, Я. К. Мадаленский, С. Сангушко и Я. Трызна — от 400 до 700 волок, а 33 человека — от 200 до 370 волок.

Одновременно резко уменьшилась доля мелких пожалований. Если в 1623—1629 гг. пожалования 25 и менее волок составляли 60,2%, то в 1633—1636 гг. — 25,8%, в том числе 10 и менее волок — соответственно 43,4 и 4,3%¹. Значительная часть пожалований Владислава IV досталась смоленской шляхте, уже владевшей ленными имениями, т. е. раздачи 1633—1636 гг. способствовали дальнейшему укрупнению землевладения на этой территории.

Трудно сказать, было ли увеличение пожалований при Владиславе IV результатом сознательной поддержки королем среднего и крупного ленного землевладения. Разумеется, теоретически среднему и крупному феодалу было легче исполнять службу, а передача Невеля и Себежа Радзивиллам продолжала линию, намеченную еще Сигизмундом III (таким образом король снимал с себя расходы по обороне некоторых мелких крепостей; о ней — в своих же интересах — должен был позаботиться новый владелец). Но, судя по всему, Владислав IV использовал эти пожалования, прежде всего, как средство удовлетворить претензии своих приближенных, участников войны (многие из них не получали жалованья), просто влиятельных феодалов (например, Радзивиллов), в поддержке которых король нуждался. Масштаб и результаты раздач выяснились лишь впоследствии, так как пожалования Владислава IV (в отличие от привилеев его отца, обычно лишь утверждавших комиссарские листы) предшествовали выделению имений соответствующей площади. При этом был не только исчерпан фонд свободных (пустующих) земель, но и нанесен существенный урон собственным владениям короля в всеводстве.

Комиссары, вновь отправленные в Смоленск в 1635 г., констатировали уменьшение числа служб (крестьянских хозяйств) в имениях короля в Смоленском повете с 2 150,5 в 1629 г. до 343 в 1635 г., т. е. почти на 84%, объясняя это не только убылью населения в годы войны и возвращением России Серпейского уезда, но и раздачей шляхте королевских имений.

¹ При этом даже не учитываются сотни наделов в 4—8 волок, переданные в 20-е годы XVII в. отрядам военнослужилых людей.

Они выразили сомнение в возможности на доходы с оставшихся служб содержать гарнизоны и ремонтировать укрепления [16]. Эти сомнения разделял и смоленский воевода А. Гонсевский. После сейма, на прощальной аудиенции у короля 3 марта 1637 г., он выступил с заявлением, внесенным затем по его просьбе в Литовскую метрику. Гонсевский отметил, что до войны содержал гарнизон в несколько сот человек и крепость на доходы с королевских имений. Затем разные лица выпросили у короля и разобрали почти все эти волости. Между тем, стены Смоленска были повреждены во время осады и требовали ремонта, а 24 марта 1637 г. истек установленный сеймом срок уплаты жалованья гарнизону, и средств на его дальнейшее содержание у воеводы не было [2, ед. хр. 107, л. 200 об.—202].

В некоторых случаях представители местной администрации пытались воспрепятствовать передаче имений пожалованным, так как раздача имений, ранее находившихся в их должностном владении, уменьшала и личные доходы воеводы и старост. Стародубский староста М. Абрамович, сам получивший очень крупное пожалование, лишь в 1637 г., после судебного решения, наконец передал земли Поповгородского уезда, ранее принадлежавшие старосту, шляхтичам, получившим на них привилеи в 1634 г. [2, ед. хр. 107, л. 217—217 об.]. Впрочем, А. Гонсевскому удалось добиться от А. Вежховского возвращения одного из королевских пожалований — Богдановой околицы — во владение смоленских воевод [2, ед. хр. 108, л. 674—674 об.]. Но Вежховский получил это имение в 1634 г., еще не будучи шляхтичем (он был нобилитирован лишь на сейме 1638 г.) [12, т. III, с. 462], и ему, видимо, трудно было противиться воеводе, а других случаев возврата имений мы не знаем.

После 1637 г. в воеводстве зафиксированы лишь единичные, обычно небольшие, пожалования. Но ущерб, нанесенный в 1633—1636 гг. владениям короля, непосредственно сказался на обороноспособности воеводства. Им в значительной степени объясняется и плачевное состояние стен Смоленска в 1654 г., и то, что его гарнизон 16 лет (т. е. именно с 1637 г.) не получал жалованья [17, с. 107].

Но пожалования Владислава IV расширили круг лиц, владевших ленными имениями, т. е. обязанных нести определенные повинности.

В задачи статьи не входит рассмотрение военной службы смоленской шляхты с ленных имений, осуществлявшейся в традиционных для Речи Посполитой формах посполитого рушения. Но для оценки системы, примененной в воеводстве, принципиальное значение имеет вопрос о связи размеров пожалования с объемом службы.

Приходится констатировать, что привилеи фактически предъявляли ко всем пожалованным одинаковое требование — личной военной службы. Различия в размерах имений в привилеях при этом не привнимались во внимание. Только обязанность построить дом в городе и держать там подворника не распространялась на лиц, не получивших городских участков (они были, видимо, довольно быстро исчерпаны и уже в 30-е годы жаловались лишь вместе со сравнительно крупными имениями).

Впрочем, многие крупные феодалы выставляли со своих имений по несколько шляхтичей и челядников. Например, в 1654 г. Яна Храповицкого, покинувшего Смоленск, представляли 7 шляхтичей и 6 челядников, Ян Мещерин явился сам и выставил 10 челядников (шляхтичей) и двух подворников (с собственного и с приобретенного домов) и т. п. [17, с. 84, 87—88].

Но тогда же владелец 58 дымов крестьян В. Рарог явился на службу сам вместе с 3 челядниками, а крупнейший феодал повета В. Гонсевский (в 1650 г. владелец 1 274 дымов) послал на службу лишь 1 шляхтича и 2 челядников. Только 1 шляхтича выставил бывший смоленский воевода Е. К. Глебович, т. е. объем его службы был тот же, что и у многочисленных владельцев нескольких волок и 1—2 дымов [17, с. 87—88, 97; 18, л. 3—3 об., 32].

На объем службы мог влиять не столько размер, сколько число пожалований. Так, земский судья Ян Воеводский в 1654 г. выставил 5 челядни-

ков и подворника «с пяти привилеев» [17, с. 87]. Поскольку покупка ленного имения возлагала соответствующие повинности на нового владельца, то и служба с приобретенного имения, очевидно, учитывалась независимо от службы с полученных ранее имений. Судя по данным 1654 г., в случае раздела имений смоленской шляхты между наследниками иногда объем службы даже увеличивался, так как ее исполняли все лица, получившие часть имения. Но дополнительные пожалования содержали обычно лишь требование исполнять условия, обозначенные в первом привилее [2, ед. хр. 108, л. 97—98], и, сопоставляя данные о пожалованиях со списком шляхты, оборонявшей Смоленск в 1654 г., можно констатировать, что во многих случаях объем службы в результате новых пожалований никак не изменился. По-видимому, увеличение объема службы тогда определялось в лучшем случае обычаем, не являясь юридической нормой.

Тем не менее, объем службы с ленных имений воеводства постепенно увеличивался. По сравнению с 1633 г. численность шляхты, находившейся в осажденном Смоленске в 1654 г., значительно увеличилась (с 206 до 514 человек; но лично исполняли службу лишь 68,7% всех владельцев имений [10, с. 178—180]). Однако отсутствие четких норм службы, прямой зависимости между размером имения и объемом повинностей было несомненным просчетом правительства. При всех дополнительных требованиях, предъявляемых к пожалованным, их обязанность лично служить только во время войны фактически совпадала с аналогичной обязанностью остальной шляхты Речи Посполитой. Не исключено, впрочем, что правительство просто не решилось повысить требования (например, потребовать службы и в мирное время), опасаясь сопротивления шляхты.

Существенным отличием ленного землевладения от обычного шляхетского было отсутствие у пожалованных полного права собственности. Необходимость санкции короля на любую земельную сделку была выражением его прав верховного собственника всех ленных имений. Обилие в Литовской метрике консенсов смоленской шляхте свидетельствует о том, что ей действительно приходилось обращаться за разрешением к королю. Это, разумеется, влекло за собой расходы и замедляло оформление сделок. Но во многих консенсах имя покупателя пропущено. В некоторых же содержится разрешение продать или заложить имение целиком или по частям любому шляхтичу [2, ед. хр. 97, л. 150—150 об., ед. хр. 108, л. 382 об.—383, 380 об.—381, 401, 403—403 об.]. Получение консенса такого типа временно ослабляло зависимость пожалованного от короля. Впрочем, необходимость получения королевского разрешения была скорее формальностью и, видимо, не отражалась на характере сделок — в частности, не препятствовала продаже земель многими из пожалованных (особенно коронной шляхтой) лицам, уже владевшим ленными имениями, т. е. концентрации земельной собственности.

Одной из прерогатив короля как верховного собственника было право наследовать все выморочные имения. Но они сразу же вновь передавались в ленное владение, обычно лицам, которые сообщали в канцелярию Великого княжества Литовского о смерти владельца и просили о пожаловании.

Вполне реальным было и право короля отбирать ленные имения за нарушение условий владения. Попытки довольно широко применить эту меру были предприняты при Владиславе IV в отношении лиц, уклонявшихся от участия в обороне крепостей или перешедших на русскую службу. Впрочем, инициатива, как правило, исходила снизу, от шляхты, претендовавшей на имения таких лиц. Но привилеев на «дохождение» имения через суд не гарантировал вновь пожалованному его приобретение. Часть шляхты, уклонившейся от службы, успела получить привилеев с подтверждением владения, часть «изменников» просто оказалась в плену и, вернувшись, также сохранила имения. В Литовской метрике записано, например, три привилея разным лицам на имение дворян Борозниных в Стародубском повете и привилей Борозниным с подтверждением владения [2, ед. хр. 108, л. 74—74 об., 313—314, 654 об.—655 об.; ед. хр. 110, л. 159], и подобных примеров немало.

В случае покупки имения без разрешения новый владелец обычно об-

ращался к королю за подтверждением и, как правило, его получал. Но любой шляхтич, ранее узнав о незаконной сделке, мог, сообщив о ней королю, получить привилей на «дохождение» этого имения [2, ед. хр. 102, л. 333 об.; ед. хр. 110, л. 262—262 об., 314—314 об., 318 об.—319].

По общим правилам, подлежали конфискации имения и все имущество лиц, незаконно присвоивших шляхетские права. Но, например, пожалования «людям народа московского» не сопровождалось формальным постановлением о признании их шляхетства. Впрочем, не исключено, что конституция 1613 г. и позднейшие акты, признавшие за ними право на имения, были восприняты как фактическое включение их в состав шляхты Великого княжества. По-видимому, это соответствовало и обычной практике, так как отдельные русские феодалы (хотя бы упомянутый выше П. М. Халютин) и раньше вливались в состав шляхты некоторых воеводств.

Ленное владение землей на Смоленщине и Северщине, очевидно, стало ступенью к шляхетству и для некоторых выходцев из непривилегированных сословий. Такое имение, например, в 1620 г. получил В. Парог, официально нобилизованный лишь в 1638 г. [2, ед. хр. 97, л. 150 об.—152; 12, t. III, s. 462]. Крупные феодалы Стародубского повета — Керло упоминаются в «Книге хамов» их современника В. Н. Трепки в качестве гданьских купцов. Д. Керло, видимо, сделал карьеру благодаря своему браку с К. Волович, причем официально шляхетства так и не получил [19]. В 1635 г. шляхтич Ян Каменский получил привилей на имущество трех братьев Кухтенко, своих беглых крестьян, которые, выдав себя за шляхтичей Гомолинских, получили на Смоленщине ленные имения, и это отнюдь не единственный подобный пример [2, ед. хр. 108, л. 388—389, 540—540 об., 568—569 об., 729 об.]. Литовский магнат Е. К. Глебович получил в 1642 г. привилей на возвращение бежавших в Смоленское воеводство военнотружеников крестьян («бояр») и «подданных», часть которых «земские имения ленным правом по привилеям... держат и вольностью шляхетской пользуются» [2, ед. хр. 118, л. 343 об.—344]. Разумеется, это явление было распространено не только в исследуемом регионе. Широко известно, что шляхта постоянно пополнялась выходцами из других сословий, чаще всего просто лицами, присваивавшими себе шляхетские гербы и фамилии. Но возможность получить хотя бы небольшое ленное имение от короля в Смоленском воеводстве, где, в отличие от остальных поватов Великого княжества еще не сложилось скрепленное сложными родственными связями шляхетское общество, отлично знавшее, «кто есть кто», и подозрительно встречавшее неизвестных ему лиц, должна была привлекать на территорию воеводства многих энергичных выходцев из низших сословий, мечтавших изменить свой социальный статус.

Но ленное землевладение на Смоленщине и Северщине не исчерпывалось рассмотренной выше формой — владением «под правом и вольностью шляхетской», теоретически, несмотря на приведенные примеры, доступным лишь шляхте.

Нам удалось выявить и другой вариант владения — вечного, на ленном праве, но «на службе казацкой замковой». На таких условиях в 1620—1621 гг. получили земли и деревни некоторые казаки в Серпейском, Невельском, Рославльском уездах. Характерным примером может служить привилей «русскому казаку» Ф. Нарышкину от 4 января 1621 г. Он получил имения, принадлежавшие сыну боярскому Ф. Шубину, «шравом ленным вечыстым, ему самому, жоне, детям и потомком его мужского рожаю, покуль их ставати будет». Как и пожалованные «под правом и вольностью шляхетской», Нарышкин должен был построить дом на полученном участке в городе, иметь там запас продовольствия и жить лично или держать подворника. Но основной его обязанностью была «служба казацкая замковая», и в мирное время он также обязан был выполнять приказы старосты или другого «старшего» крепости. При этом пожалованный освобождался от всех налогов [2, ед. хр. 97, л. 203—204].

Развитием данной формы ленного землевладения стало создание в городах воеводства отрядов «грунтовых казаков». Первый из них был организован в Смоленске. Комиссары отмерили казакам 1200 волок на 300 ко-

ней, установив (в отличие от пожалований шляхте) норму службы: 1 конь (т. е. вооруженный всадник) с 4 волок. 16 марта 1621 г. Сигизмунд III подтвердил это пожалование. В его привилее были сформулированы условия владения казацкими наделами и определены формы их военной организации. Смоленские казаки составляли 3 хоругви (по 10 коней в каждой) во главе с ротмистрами, подчиненными воеводе и администратору воеводства королевичу Владиславу. Кроме наделов, казаки получали участки в городе для постройки домов и огороды на посаде. Допускалась возможность удвоения надела, и тогда владелец 8 волок выставлял 2 коней. Земли были пожалованы «им самим, женам, детям и потомкам их на вечное время». Как и шляхте, этим казакам разрешалось иметь мельницы и корчмы. Как и шляхта, владевшая ленными имениями, казаки могли отчуждать свои наделы, но также с ведома короля (или воеводы) и только в пользу лиц, способных нести ту же службу. По истечении 6 лет, назначенных им для устройства, казаки должны были в мирное время бесплатно исполнять «службу рыцарскую казацкую», нести стражу на стенах Смоленска и постоянно находиться в городе, отлучаясь лишь с ведома воеводы или коменданта крепости, которые, впрочем, не должны были без особых причин запрещать отлучек. Различные дела казаков рассматривались в градском суде по Литовскому статуту, как и у шляхты. Во время войны им платили жалование [2, ед. хр. 97, л. 283 об.—285].

В 1624—1625 гг. такие отряды были созданы и в других городах воеводства. В Белой численность отряда была установлена в 200 коней, в Дорогобуже, Стародубе, Мглине — в 100, в Рославле, Почепе, Невеле — в 50, в Себеже и Трубчевске — в 30 коней. Образцом привилеев этим отрядам послужил привилей смоленским казакам, и условия пожалования были однотипны, только в Невеле из-за плохого качества земли надел был повышен до 6 волок. В 1635 г., подтверждая привилей трубчевским казакам, Владислав IV прибавил к их наделам пятую волоку [2, ед. хр. 101, л. 235—236 об., 278—279, 219—221, 215—217; ед. хр. 99, л. 545—545 об.; ед. хр. 101, л. 242 об.—243 об., 121—122, 240—241 об., 237 об.—239; ед. хр. 108, л. 758—760 об.].

Но пожалования отдельным лицам могли быть выше нормы. В Смоленском уезде бывший серпейский казак И. Чарный в компенсацию потерянных земель был пожалован в 1635 г. 15 волоками на тех же условиях, в 1637 г. Я. Нетецкий «на службе казацкой» получил 16 волок [2, ед. хр. 108, л. 408—408 об., 530] и т. п. Командовавшая отрядами шляхта также получала (обычно в пожизненное владение) увеличенные наделы, присвоенные должности ротмистра. Их величина колебалась от 10 волок (в Трубчевске) до 16 и даже 32 волок (в Смоленске), очевидно, в зависимости от численности хоругви, причем ротмистр был обязан выставлять дополнительно всадников, составлявших его «почт», по той же норме [2, ед. хр. 108, л. 166 об.—167; ед. хр. 110, л. 416 об.—417]. Как видно на примере казаков Трубчевска, наделы могли и дробиться, тогда совладельцы выставляли коня совместно [6, с. 613].

Казаки могли владеть и крестьянами. В Серпейском уезде, например, в конце 20-х годов XVII в., кроме шляхты, подымное за принадлежавшие им дымы крестьян платили и казаки (в рассмотренном нами документе один казак за 3 и другой — за 5 дымов) [20]. В 1629 г. сейм признал предоставленное казакам Смоленского воеводства по привилеям освобождение от всех налогов Речи Посполитой. Эту привилегию, недоступную владельцам имений «под правом и вольностью шляхетской», еще раз подтвердила инструкция короля сборщикам подымного в 1650 г. [2, ед. хр. 124, л. 56 об.].

Среди получивших ленные имения на казацкой службе были и выходцы из русских дворян [2, ед. хр. 97, л. 129, 203, 236, 239—240]. Могла владеть казацкими наделами и шляхта. Шляхтич К. Костюшко, заявив, что братья Кравченко, именующиеся Михновичами, держат землю на казацкой службе, будучи людьми «простого сословия», получил привилей на их наделы с условием исполнения той же службы [2, ед. хр. 108,

л. 486 об.]. «Шляхетный» П. Яблонский в 1633 г. получил 3 деревни в Трубчевском уезде с обязанностью выполнять вместе с другими казаками ту же службу. При этом привилея короля разрешил ему осуществлять право пропинации, «вольностью шляхетской пользуюсь» [2, ед. хр. 108, л. 35—36 об.]. Имелись среди казаков и выходцы из мещан [21]. Но, видимо, основную массу «русских казаков» Смоленского воеводства, именуемых в источниках также «донцами», составили казаки, до 1618 г. служившие королевичу.

В 1625 г. при Дорогобуже было пожаловано 500 волок на 100 коней (по 5 волок на коня) на «службе рыцарской замковой» отряду татар — военнотружеников людей Великого княжества Литовского, по своему положению приближавшихся к шляхте, но в исследуемый период еще не добившихся признания за ними некоторых ее привилегий. От казаков татар отличала не только величина надела, но и юридический статус, принесенный из Литвы. Пожалованные во главе со своим хорунжим пользовались «правом и вольностью такой, которой пользуются татары, в Великом княжестве Литовском земли имеющие» [2, ед. хр. 101, л. 304 об.—306]. В остальном их обязанности, право на пожалованную землю и ее отчуждение совпадали.

В 1626 г. аналогичный привилей получили и смоленские пушкарки. Им выделили по 8 волок на 12 пушкарей и по 6 волок на 18 помощников, обязав владельцев наделов наследственно выполнять пушкарскую службу [2, ед. хр. 99, л. 593 об.—594]. В 1646 г. на «грунтовую службу» были переведены и 11 пушкарей Дорогобужа, получившие несколько деревень [2, ед. хр. 121, л. 91—91 об.]. Исполнение пушкарской службы предусматривало не только обслуживание крепостной артиллерии, но и изготовление пороха (по несколько фунтов с человека в год) для ее нужд. Местная администрация, впрочем, предпочла заменить эту натуральную повинность пушкарей ежегодным денежным сбором [17, с. 102], вероятно пропорциональным величине надела. Таким образом, пушкарки фактически платили за свои земли чинш, т. е. находились в менее благоприятном положении, чем казаки, а кроме того, в отличие от них не были освобождены от уплаты подымного. Но и пушкарям наделы жаловались на ленном праве, что прямо отмечают источники. В 1634 г. смоленский пушкарь А. Линк был утвержден в вечном ленном владении 10 волоками в Смоленском уезде с условием пушкарской службы, в привилее 1637 г. М. М. Смолдовскому и 3 его сыновьям на 32 волоки (по 8 на человека) на тех же условиях также указано, что земли переданы им «правом ленным на службе пушкарской» [2, ед. хр. 110, л. 500 об.—501; ед. хр. 108, л. 562—562 об.] и т. п., т. е. правительство рассматривало пушкарские наделы как одну из форм ленного землевладения, в принципе, видимо, аналогичную существовавшим в Ливонии мелким ленным владениям замковых слуг и ремесленников [5, с. 27, 30, 45].

Как и наделы казаков, пушкарские наделы нередко дробились. К 1654 г. в Смоленске число владельцев пушкарских земель достигло 68 человек, а площадь принадлежавшей им земли увеличилась лишь со 198 до 214 волок. Только трое владели наделами по 8 волок (в том числе и упоминавшийся выше свежеиспеченный шляхтич В. Рарог), а 11 человек — по 6 волок. Остальные держали по 4 (5 человек), 3 (16 человек), 2 (16 человек), 1,5 волоки (12 человек), а одним из шести волочных наделов владели 5 братьев. Поскольку у некоторых совладельцев разные фамилии [17, с. 62—63], дробление, очевидно, являлось результатом не только родственных разделов, но и земельных сделок, разрешенных пушкарям на тех же основаниях, что и казакам.

Следует подчеркнуть, что и татары (по общим правовым нормам Великого княжества), и казаки, и пушкарки могли иметь зависимых крестьян. Землю с крестьянами получил, например, от Сигизмунда III смоленский пушкарь М. Иогансен, в 1650 г. смоленские пушкарки платили налог за принадлежавший им 121 дым крестьян [2, ед. хр. 101, л. 316 об.; 18, л. 40—40 об.], и, в сущности, во многих случаях очень трудно провести четкую грань между этими служилыми людьми и мелкой шляхтой, тем

более, что все владельцы крестьян независимо от происхождения должны быть отнесены к феодалам.

Довольно затруднительна и оценка возникшего в Смоленском воеводстве землевладения королевских «грунтовых бояр».

В Великом княжестве Литовском, как известно, путные и панцирные бояре составляли верхушку крестьянства и, постепенно сближаясь с основной его массой, сохраняли некоторые привилегии, прежде всего, личную свободу. Со своих наделов в 1—2 волоки бояре несли военную службу в пользу владельца земли, кроме того, платили чинш и выполняли некоторые поручения (например, возили письма) [22; 23]. Такие бояре упоминаются и в описаниях имений Смоленского воеводства, владельцы которых были заинтересованы в том, чтобы иметь военных слуг на случай войны или крестьянских выступлений. Формально отношение между феодалом и боярином, обязанным выполнять в пользу владельца земли военную службу по первому требованию, можно сопоставить с аналогичной обязанностью владельца ленного имения по отношению к королю. Заслуживает внимания высказанное А. П. Грицкевичем мнение, что в Великом княжестве «военнослужилые люди в XVI—XVIII вв. были близки к положению западноевропейских вассалов» [23, с. 246].

В целом положение бояр частновладельческих имений воеводства и их собратьев на территории Великого княжества, видимо, не отличалось. Но на общем фоне очень выделяются панцирные бояре, приписанные к Смоленску.

По всей вероятности, боярские надельные участки возникли при проведении волочной померы в королевских имениях воеводства еще до Смоленской войны, во всяком случае, уже в 30—40-е годы XVII вв. бояре упоминаются в некоторых старостах [2, ед. хр. 113, л. 159—159 об.; ед. хр. 117, л. 39]. Но лишь в 1643 г. по указанию короля его комиссары завершили организацию в Смоленске боярской хоругви, выделив ей 452 волоки на 113 коней. Величина надела у этих бояр — 4 волоки на коня была вдвое, а то и вчетверо больше, чем у остальных бояр воеводства. Находясь, как и остальные служилые люди, под властью и юрисдикцией смоленского воеводы, бояре помимо военной службы (обороны крепости) должны были по очереди возить письма и ездить с поручениями, а также, в отличие от казаков, платить за свои земли чинш, установленный комиссарами в размере 4 коп литовских грошей с коня, т. е. по копе (60) грошей с волоки. Но подтверждая пожалование, Владислав IV в привилеее 29 марта 1645 г. снизил чинш до чисто символических размеров — 6 грошей с коня, т. е. 1,5 гроша с волоки (в 40 раз меньше), а кроме того, освободил бояр, как в свое время и казаков, от уплаты налогов. 9 февраля 1649 г. этот привилей подтвердил Ян Казимир [2, ед. хр. 124, л. 56 об.]. Об этой привилегии смоленских панцирных бояр напомнил сборщикам подымного в 1650 г. специальный королевский лист; тогда же из канцелярии Великого княжества было отдано распоряжение смоленскому воеводе о выделении боярам участков в Смоленске для постройке домов [2, ед. хр. 124, л. 56 об.].

Все это выходило за рамки обычных боярских прав и привилегий и в сочетании с наделью, равным казацкому, и организацией службы в хоругви по образцу казацких отрядов приближало землевладение бояр смоленской крепости к местному казацкому землевладению. В сущности, надельные участки панцирных бояр смоленской хоругви также являлись формой ленного землевладения (хотя и гораздо менее привилегированного, чем шляхетское и даже казацкое), сочетавшего военные обязанности с элементами феодальной ренты. Эта форма ограничивала и права владельца на его надел. Хотя привилей гарантировал хоругви владение пожалованными землями, он не содержал указаний на возможность их отчуждения отдельными владельцами и не гарантировал права наследования, хотя фактически оно несомненно существовало; возможно, эти вопросы регулировались обычаями.

Конституцией 1646 г. было предусмотрено выделение земель и смоленской пехоте (по примеру тех же казаков). В 1649 г. с этой целью была создана специальная комиссия во главе с воеводой Е. К. Глебовичем [2, ед.

хр. 124, л. 109—111], но вплоть до 1654 г. данное решение так и не было реализовано. Можно лишь предполагать, что по замыслу правительства смоленская пехота владела бы землей примерно на тех же условиях, что и казаки; детали этого неосуществленного проекта неизвестны.

Таким образом, ленное землевладение, сложившееся на исследуемой территории, было явлением весьма неоднородным. Размеры ленных владений колебались от тысяч волок и целых уездов до мельчайших (в несколько волок) наделов мелкой шляхты и военнотружильных людей. Различны были и условия владения. Можно выделить три основных его типа: под правом и волностью шляхетской, на службе казацкой, татарской или пушкарской и, наконец, наделы смоленских панцирных бояр, представлявших собой наименее привилегированную форму.

Система, примененная правительством Сигизмунда III для удержания захваченных русских земель, отнюдь не являлась его изобретением. Есть все основания полагать, что в Смоленском воеводстве были использованы опыт, накопленный правящими кругами Речи Посполитой на территории Ливонии во второй половине XVI и в начале XVII в., средства, однажды оправдавшие себя в Латвии и Южной Эстонии.

Как и в Задвинском герцогстве, в Смоленском воеводстве обязанности владельцев ленных имений и права короля по отношению к ним должны были в случае успешного функционирования примененной правительством системы обеспечить оборону этой территории с помощью местных сил и ресурсов. С той же целью, как отмечалось, на военные нужды была предназначена часть доходов с королевских имений воеводства. Военная обязанность была сохранена и за немногочисленными вотчинниками, возложена и на мещан, также пожалованных землей [24]; вооруженных слуг со своих имений должно было выставлять и духовенство [10, с. 179].

Оценивая степень эффективности этой системы, следует исходить из результатов двух кампаний, в ходе которых она подверглась испытанию. В 1633 г. владельцы ленных имений и наемные отряды успешно обороняли Смоленск до прихода армии Владислава IV. Разумеется, местных сил было недостаточно для длительной обороны этой территории, но они оказались способны сковать силы противника до прихода подкрепления. В 1654 г. шляхта сдала Смоленск после не слишком продолжительной осады. Но капитуляция вытекала не столько из недостатков этой системы обороны, сколько из-за отсутствия второго компонента, необходимого для ее успешного функционирования, — идущей на выручку сильной королевской армии.

Это обстоятельство позволяет более объективно оценить реальные возможности и результаты развития ленного землевладения в воеводстве.

По самым смелым оценкам (учитывая военнотружильных людей, владельцев имений и выставляемых последними подворников и челядников) можно было рассчитывать, что с ленных земель будет выставлено не более 3 тыс. человек, из них не более 2 тыс. — в Смоленском повете. Эта вспомогательная сила выполняла важнейшую задачу и, неспособная самостоятельно решить исход войны, в какой-то степени определяла ее ход и результаты. С этой точки зрения, своего рода эксперимент на территории Смоленского воеводства мог бы быть признан довольно интересным и даже в какой-то степени удачным. Но возникает впечатление, что королевское правительство переоценило результаты Смоленской войны. Несомненным просчетом Владислава IV была массовая раздача его собственных имений. Резкое сокращение доходов с имений короля в воеводстве, отсутствие местных средств на ремонт укреплений и жалование гарнизонам не могли быть компенсированы увеличением владений феодалов, не сопровождаемым четко определенным увеличением их службы. Поскольку ленное землевладение было, повторим, лишь одним из элементов обороны воеводства, его дальнейшее развитие в ущерб другим элементам нарушило необходимое равновесие, и вместо того, чтобы усилить, — ослабило обороноспособность этой территории.

Оценивая сам факт раздачи земель воеводства, следует учитывать, что пожалование земли на ленном праве — явление все же иного порядка,

чем просто передача в частные руки владений короля или доходов с них. В данном случае эта мера теоретически могла укрепить позиции королевской власти. Мы склонны полагать, что раздача ленных имений на Смоленщине и Северщине, как и некоторые другие меры, одновременно проводившиеся Сигизмундом III (хотя бы попытки активизировать военную службу с «татарщин», заставив служить не только самих татар, но и шляхту, скупившую у них земли) [12, t. II, s. 450—451; t. III, s. 26, 122, 150, 279—280], являлась и попыткой усиления зависимости от короля некоторых категорий феодалов Речи Посполитой. С этой точки зрения, данная мера могла быть элементом программы усиления королевской власти, выдвигавшейся представителями династии Вазов. Этот аспект земельной политики Сигизмунда III несомненно заслуживает внимания. Но сразу оговорим, что никакими прямыми указаниями на расчеты короля использовать ленную зависимость части шляхты во внутривосточных акциях мы не располагаем. Кроме того, создание системы ленного землевладения только на отдаленной восточной окраине государства, очевидно, не могло оказать существенного влияния на соотношение сил в стране. Применение же этой системы в том же объеме на остальной территории Речи Посполитой, где король не располагал подобным фондом земли, было невозможно.

В заключение следует сказать несколько слов о судьбе рассмотренного здесь ленного землевладения.

Феодалы Стародубщины после вступления в повет отрядов Хмельницкого в 1649 г. должны были покинуть свои имения. Дальнейшие события привели там в конечном итоге к ломке существующей структуры феодального землевладения. Лишь позже место шляхты заняла казачья старшина.

Иной была судьба землевладельцев Смоленщины, в подавляющем большинстве присягнувших царю. Грамота Алексея Михайловича 8 сентября 1654 г. обещала сохранить за шляхтой, казаками, пушкарями их прежние владения [25]. Но поскольку понятие ленного землевладения отсутствовало в русском праве, а наследственное владение приближалось к вотчинам, имения, полученные шляхтой от польских королей, были признаны вотчинами [26]. Владельцы, в соответствии с Уложением 1649 г. [27], получили право отчуждать имения, возникла возможность наследовать их и по женской линии. От обязанности нести военную службу владение вотчинами не освобождало. Но любопытно, что для бывших владельцев ленных имений и их потомков, вошедших в состав русского дворянства, вплоть до середины XVIII в. сохранялось название смоленской шляхты, и служба их протекала в так называемом «полку смоленской шляхты», представлявшем по сути дела модификацию прежнего посполитого рушения [28]. В качестве вотчин, видимо, рассматривались и «грунты» казаков (позже переименованных в рейтар, затем в драгун), противопоставляемые в документах полученным от царя «поместным дачам» [26], а также пушкарей, но этот вопрос требует специального изучения (есть некоторые основания полагать, что этот вид землевладения в какой-то степени сохранил черты ленного держания).

Смоленские шляхтичи, продолжавшие служить королю, в Речи Посполитой продолжали считаться владельцами своих ленных имений. Некоторые из них даже получили от короля привилегии на владения «изменников» [2, ед. хр. 131, л. 296, 321]. В 1662 г. сейм признал их владения в Смоленском воеводстве обычными шляхетскими имениями [12, t. IV, s. 422], но практического значения это постановление иметь не могло, так как по Андрусовскому перемирию 1667 г. вся территория бывшего воеводства осталась за Россией. Впрочем, по «Вечному миру» 1686 г. к Речи Посполитой отошли принадлежавшие Радзивиллам Невель и Себеж, т. е. тамошняя шляхта могла реализовать свои вотчинные права.

Ликвидация ленной системы на исследуемой территории отнюдь не привела к упразднению этой формы землевладения на остальной территории Речи Посполитой. Уже не возлагая на ленное землевладение таких больших надежд, как на Смоленщине и Северщине, правительство и позже практиковало раздачу земель на ленном праве; использовалось оно и отдельными магнатами. Несмотря на принятое сеймом в 1791 г. поста-

новление о превращении всех ленных имений в аллодиальные, в разных вариантах эта архаичная форма землевладения продолжала существовать на землях Великого княжества Литовского до первой половины XIX в. [29].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Лалло И. И.* Литовский статут 1588 г. Т. I. Каунас, 1934, с. 263, 274.
2. ЦГАДА, ф. 389 (Литовская метрика).
3. *Prochaska A.* Lenna i maistwa na Rusi i na Podolu. Kraków, 1902.
4. *Тарвел Э.* Фольварк, пан и подданный. Аграрные отношения в польских владениях на территории Южной Эстонии в конце XVI — начале XVII века. Таллин, 1964, с. 28—51.
5. *Дорошенко В. В.* Очерки аграрной истории Латвии в XVI веке. Рига, 1960.
6. *Лазаревский А.* Описание Старой Малороссии. Материалы для истории заселения, землевладения и управления. Т. I. Киев, 1888.
7. *Луцкий И. В.* Материалы для истории землевладения в Черниговщине и Северщине (1603—1645).— Чтения в историческом обществе Нестора летописца. Киев, 1901, т. XV, вып. 1, отд. III, с. 14—15.
8. *Gloger Z.* Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 3. Warszawa, 1978, s. 138—139.
9. *Historia państwa i prawa Polski*, t. 2. Warszawa, 1968, s. 218.
10. *Acta baltico-slavica*, t. XIII. Wrocław etc, 1980.
11. *Флоря Б. Н.* Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI — начале XVII в. М., 1978, с. 289.
12. *Volumina legum. Przedruk zbioru praw, staraniem XX. piąarów w Warszawie od roku 1732 do roku 1782, wydanego, t. II—IV.* Petersburg, 1859—1860.
13. *Сухотин Л. М.* Земельные пожалования в Русском государстве при царе Владиславе. 1610—1611 гг. М., 1911.
14. Библиотека ПАН (филиал в Курнике). Рукопись № 326, с. 181 (копия).
15. *Думин С. В.* Ремесло и ремесленники Смоленского повета Речи Посполитой в первой половине XVII в.— В кн.: Проблемы истории античности и средних веков. М., 1981, с. 141—142.
16. Библиотека Вроцлавского университета. Отдел рукописей, № 1949/439, т. 2, л. 46 об. (копия).
17. Собрание государственных и частных актов, касающихся истории Литвы и соединений с ней владений (от 1387 до 1710 года), изданное Виленской археологической комиссией. Ч. I. Вильно, 1858.
18. ЦГАДА, ф. 145 (Приказ княжества Смоленского), оп. 1, кн. 1.
19. *Trepka W. N.* Liber generationis plebeanorum («Liber chamorum»), t. 1. Wrocław etc, 1963, s. 237—238.
20. *Godziszewski W.* Granica polsko-moskiewska wedle pokoju polanowskiego (wytyczona w latach 1634—1648). Kraków, 1934, s. 64—67.
21. Русско-белорусские связи. Сборник документов (1570—1667). Минск, 1963, с. 103.
22. *Погилевич Д. Л.* Крестьяне-слуги в Великом княжестве Литовском в XVII—XVIII веках.— В кн.: Средние века, вып. 2. М., 1962.
23. *Грицкевич А. П.* Хозяйственное и правовое положение военно-служилого населения Слуцкого княжества в XVI—XVIII вв.— Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1962. Минск, 1964.
24. *Думин С. В.* Социально-политическое развитие городов Смоленского воеводства в составе Речи Посполитой (1618—1654).— Проблемы истории античности и средних веков. М., 1980, с. 104—105.
25. *Мурзакевич Н. А.* История города Смоленска. Кн. 5. Смоленск, 1903, с. 34—35.
26. ЦГАДА, ф. 1209 (Поместный приказ), ед. хр. 15156 — список смоленской шляхты и рейтар (бывших казаков) с описанием их владений и прав на земли.
27. *Маньков А. Г.* Уложение 1649 года — кодекс феодального права России. Л., 1980, с. 79—93.
28. ЦГАДА, ф. 286 (Герольдмейстерская контора), ед. хр. 17, 54 и др.— списки полка смоленской шляхты до 1728 г.
29. *Козловский П. Г.* Землевладение и землепользование в Белоруссии в XVIII — первой половине XIX в. Минск, 1982, с. 15—17.



ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА У СЕРБОВ В ОСВЕЩЕНИИ Н. А. ПОПОВА

Одним из обязательных принципов исторического науковедения вообще и истории славяноведения, славянской филологии и языкознания в частности должно стать обстоятельное изучение и осмысление всех аспектов творческой деятельности отдельных ученых. «Перед историком русского славяноведения, — отмечал С. Б. Бернштейн, — стоит трудная задача дать не только общую оценку научной деятельности того или другого слависта, но и оценить его вклад в специальные области» [1].

Для многих ученых прошлого был характерен, как известно, научно-исследовательский универсализм в широкой сфере филологических и исторических наук. Это обстоятельство порождает ныне известные трудности в разработке и освещении истории славяноведения. Достоверное представление и объективная оценка деятельности славистов XIX — начала XX в. во всей широте их занятий и творческих заслуг осложняется неадекватной компетентностью современных специалистов, обусловленной разветвленностью и все более углубляющейся дифференциацией научных дисциплин. Для создания полноценных творческих портретов и комплексного осмысления научного наследия отдельных ученых ныне требуется сложение усилий историков науки, специализирующихся в разных областях славистики.

В существующей литературе о развитии славяноведения и о русских славистах XIX в. обнаруживаются случаи как поверхностной и некорректной репрезентации специальных исследований и научных концепций, так и пробелы, лакуны в описании и оценке достижений отдельных ученых в разнородных областях нашей науки. Так, например, историки-слависты не могли дать компетентного суждения о вкладе П. А. Ровинского в диалектологию и историю сербскохорватского языка. Когда же с энциклопедическим трудом Ровинского «Черногория в ее прошлом и настоящем», изданным еще в начале XX в., познакомились наконец югослависты-лингвисты, на ежегодной конференции сербокроатистов в Белграде в 1973 г. прозвучали слова «сенсация» и «драгоценное открытие». В докладе Д. Петровича и в дискуссии отмечалось, что Ровинский, не будучи диалектологом-профессионалом, первым создал разностороннее и довольно подробное описание черногорских говоров, сохраняющее информационную ценность и в наши дни [2].

Этот пример удивителен, но вряд ли уникален. Во всяком случае, он побуждает к углубленному и всестороннему обследованию научного наследия славистов-универсалов.

Для славистов прошлого века характерна многоаспектность исследований, когда один и тот же автор освещал, скажем, в магистерской диссертации тему из истории славян, а в докторской — вопросы языкознания (как, например, А. А. Кочубинский) или изучал один и тот же объект

под углом зрения истории и языкознания (как, например, А. А. Майков, исследовавший древнесербскую деловую письменность). Известны также опыты взаимодействующего сопряжения разных наук: истории, истории литературы и культуры и языкознания, обычно при анализе и описании литературноязыковой истории славянских народов.

Одним из таких опытов является значительная и во многом не утрачившая и поныне научной актуальности работа Н. А. Попова «К вопросу о реформе Вука Караджича», в которой исследована предыстория современного сербохорватского литературного языка, освещены социально-исторические обстоятельства, в которых функционировал книжно-письменный язык у сербов в XVIII в. и которыми определялось его своеобразие, выявлены предпосылки реформы Вука Караджича [3, с. 162—225].

Ранее А. А. Майков отметил, что с падением в XV в. сербской государственности прервалось развитие деловой письменности, в языке которой преобладало народно-речевое начало. Определяющим фактором оформления и функционирования книжно-письменного языка в дальнейшем, в XVI—XVIII вв., Майков небезосновательно называл «исключительное пребывание книжного языка в руках духовенства», что, естественно, обусловило в нем «преобладание церковнославянской стихии» [4, с. 821].

В формировании языка, на котором создавались тексты деловой письменности, Майков усматривал «участие всего народа», тогда как культивирование книжного языка в XVI—XVIII вв. осуществлялось, по его мнению, усилиями разрозненных писателей. Назвав имена Бранковича, Раича, упомянув «безымянных летописцев», Майков утверждал: «...Создают язык отдельные личности, начетчики, люди, по-тогдашнему, образованные. А известно, что все образование того времени... состояло в тесном знакомстве с церковнославянской письменностью, которая в ту пору уже утратила первоначальную чистоту своего языка. Такое состояние сербского книжного языка, зависевшее вполне от личного произвола, не могло привести к чему-либо полезному, когда произвол этот имел ложное направление. Оно продолжалось до последней четверти XVIII в.» [4, с. 822].

В конце XVIII в. с «пробуждением народности» и подъемом освободительного движения «открылась необходимость, — писал Майков, — не искусственного языка, годного для отвлеченных занятий отдельных личностей, но такого, который мог бы удовлетворить всем разнообразным потребностям всего возрождающегося народа. И первый, сознавший эту необходимость, был Досифей Обрадович» [4, с. 823]. Именно Обрадовича Майков считал преобразователем, реформатором литературного языка у сербов: «Смелою рукою разрушил он бессмысленное творение своих предшественников и, отрешась от личного произвола, ввел в письменность чистый, свежий и живой народный язык, присущий всему народу. Это великое дело... пустило уже глубокие корни благодаря деятельности многих поборников народного слова и достойных преемников Обрадовича» [4, с. 823]. Надо полагать, что в числе преемников Досифея имелся в виду и неназванный Вук Караджич.

В труде Майкова глубоко различаются характеристики литературного языка XII—XV вв. и XVI—XVIII вв. В первый период развитие книжно-письменного языка, представленного в памятниках деловой письменности, связывается с функционированием и упрочением государственного строя. Подчеркивается устойчивость социальных позиций языка и его неуклонное сближение с народной речью. Второй период характеризуется отсутствием у книжного языка (с преобладанием его церковнославянской разновидности) коллективной социальной базы, зависимостью его состава и строения от «личного произвола», т. е. от вкусов и воли немногочисленных авторов разнородных сочинений.

Изображение литературно-языковой ситуации у сербов в XVI—XVIII вв. (и особенно в XVIII в.) как господство «личного произвола» в выборе и применении книжно-речевых средств безусловно неправомерно. Впоследствии слависты отметили многослойность явления, называемого сербским литературным языком XVIII в., выявили социально-ис-

торическую подоплеку и обусловленность литературно-языкового «разпоречия», показали и истолковали тенденции его преобразования.

В книге «Вук Караджич. Его деятельность и значение в сербской литературе», опубликованной через два с половиной десятилетия после «Истории сербского языка» А. А. Майкова, П. А. Кулаковский указал, что для верного осмысления литературно-языковой реформы Вука Караджича и всей его деятельности необходимо ясно представлять культурно-историческую действительность того времени и предшествующей поры.

Кулаковский констатировал, что историки сербской литературы и культуры «обыкновенно рассматривают Вука Караджича как явление исключительное, как деятеля вполне оригинального, не имевшего своих предшественников», хотя «многие его положения и аргументы, которыми он защищал свое дело от своих противников, были им заимствованы у предшествовавших ему сербских писателей» [5, с. 179]. Определяя состояние языка сербской книжности XVIII — начала XIX в., развивавшейся в австрийских землях, где сербское население получило некоторое подобие культурной и религиозной автономии, Кулаковский отмечал неоднородность языковых средств у разных авторов и в произведениях различных жанров, указывал на распространение воспринятого из России с церковными и учебными книгами русскоцерковнославянского языка, представлявшего некоторым сербам атрибутом «православия и народности» [5, с. 187], а вместе с тем выявлял старания отдельных писателей ввести и внедрить в национальную литературу — за несколько десятилетий до выступления Вука Караджича — естественную (живую) народную речь. «...До Вука Караджича мы находим в сербской литературе попытки почти во всех родах литературных произведений, но сербские писатели еще не были в состоянии отрешиться от традиций предшествующего им периода, в котором господствовали церковно-славянский язык и словесность, отчужденная от практических интересов жизни», — отмечал Кулаковский и заключал, что Вук Караджич «вывел сербскую литературу на новый путь, сделал ее демократической, лишив того аристократического характера, который дали ей славяносербы» [5, с. 36].

В изложении Кулаковского содержится существенная для понимания литературно-языковой действительности и ее динамики мысль об ориентировании материи и структуры книжно-письменного языка на определенную социальную среду («аристократическая» и «демократическая» установки), т. е. о социальных факторах, определявших дифференциацию и функционирование вариаций (типов, разновидностей) литературного (книжно-письменного языка). Эта мысль, однако, не получила развития и затуманена описанием выдающихся личных качеств Караджича («скромный селяк, не получивший никакого школьного образования, но хорошо знавший народную жизнь, ее потребности и народный язык и одаренный выдающимся умом и замечательными способностями, ...вывел сербскую литературу на новый путь...»).

Книга П. А. Кулаковского побудила историка-слависта Н. А. Попова обратиться к освещению и анализу предыстории литературно-языковой реформы у сербов. В результате появилась большая статья «К вопросу о реформе Вука Караджича», названная автором рецензией на монографию Кулаковского, а фактически являющаяся оригинальным исследованием проблем литературно-языковой и культурной истории.

Подчеркнув исключительную важность темы, разработанной П. Кулаковским, Н. Попов писал: «...не принадлежит к числу присяжных филологов, а только любителей сербской литературы, я считаю бесполезным делом поговорить об исторической стороне той обработки, какой подвергся в книге Кулаковского избранный им вопрос» [3, с. 162]. Тут следует заметить, что Н. Попов, не будучи «присяжным филологом», был тем не менее достаточно компетентен в области славянской филологии. По окончании курса университета он преподавал русский язык в одной из московских гимназий, в ряде печатных работ трактовал вопросы из сферы филологических наук и истории культуры (например, «Вопрос об общеславянской азбуке», 1865).

Н. Попов нашел недостаточными изложенные Кулаковским сведения о сербской литературе XVIII в., о ее языке и о роли русских учителей и русской книги у сербов. Подробно осветив историю школьного дела у сербов в Австрии, он обстоятельно рассмотрел материалы архива синода и другие источники, относящиеся к просветительской миссии Максима Суворова и других российских учителей, направленных к сербам по просьбам церковных иерархов.

Говоря о «несомненном влиянии русской школы и литературы на возрождение народного просвещения у австро-венгерских сербов», Н. Попов объясняет «причины, почему духовная и умственная деятельность сербов возобновлялась именно под этим влиянием» [3, с. 196]. Для этого он рассматривает отношения сербов с австрийскими и венгерскими властями, сербско-русские отношения и сословную структуру сербского общества.

Н. Попов констатировал, что правительства в Вене и в Пеште старались из года в год урезывать и ущемлять «привилегии», дарованные сербам при их массовом переселении в задунайские земли, стремились склонить сербов к унии с Римом или даже обратиться в католицизм. Это побуждало сербских духовных руководителей (митрополиты распорядились не только делами церкви, но имели власть и над светской жизнью) опираться на могущество единой русской церкви. Кроме того «постоянные отказы венского правительства на просьбы сербов основать свои типографии, завести свои гимназии и образовать школьный фонд приводили к тому, что сербская иерархия, наиболее зажиточные общины и отдельные лица... искали духовной помощи и умственной пищи в России» [3, с. 187].

Социальная организация сербского общества также способствовала установлению и развитию связей с Россией, безусловно воспринятой русских церковнослужебных книг, их языка, а также массовых школьно-учебных пособий типа букваря Феофана Прокоповича. По словам Н. Попова, безраздельное использование «славяно-русских книг и славяно-русского образования между венгерскими сербами поддерживалось господством над ними церковной иерархии, военного управления и монастырского землевладения. Эти три бытовые условия сильно влияли на умственное и духовное развитие народа, заставляя его следовать туда, куда его влекли помянутые руководители. Иерархия получала образование в России или из России. Пользуясь известными общественными выгодами, она составляла своего рода аристократию в сербском населении. К ней примыкали люди военные...» [3, с. 188]. При этом «...участие в духовной и умственной жизни в ту эпоху не могло принадлежать большинству сербского народа, находившемуся в подчиненных отношениях к духовным и военным властям» [3, с. 189].

Заключая анализ объективных причин образования в XVIII в. сербско-русского культурного сообщества, Н. Попов писал: «Причины эти лежали в самой жизни сербов и были тройкого рода — политические, церковные и социальные. Под их совокупным давлением сербы охотно шли навстречу русскому влиянию. Последнее не было навязываемо им ни Петербургом, ни Москвою, ни Киевом: сербы сами искали его и находили в нем опору для борьбы с притязаниями католической иерархии и той педагогической системы, которую проводило венское правительство» [3, с. 196].

Непредвзятый добросовестный анализ исторических показаний и аргументированные суждения Н. Попова о природе русского влияния в сербской культуре XVIII в., опубликованные более ста лет назад, остаются остро актуальными и в наши дни. Дело в том, что и поныне время от времени появляются публикации, в которых «австрийские» и «венгерские» сербы в XVIII в. изображаются как пассивный объект разногосударственных внешних влияний, как сфера конкурентной борьбы за доминацию в области культуры с далеко идущими политическими целями, где победу одержала хитроумная русская дипломатия.

Так, югославский библиограф и историк Л. Чурчич утверждает, что введение русскоцерковнославянского языка в сербской церкви — это ус-

пешная акция пропагандистской службы Петра I. «После замены языка в церкви, — писал Чурчич, — русская пропаганда привязала священников к русским духовным школам, а затем ей удалось ввести русский язык в школы, в литературу и в администрацию сербов. Очень ловко и искусно должна была русская пропаганда склонить австрийских сербов к тому, чтобы они пригласили к себе русских учителей, которые были незамедлительно посланы в Белград и Сремские Карловцы. Без больших помех эти учителя организовали школы, еще быстрее снабдили их русскими учебниками и начали воспитывать в учениках преданность русским и России. ...Была осуществлена русификация всей духовной жизни сербов. Кажется, русские никогда и нигде не достигали в своей пропаганде больших успехов» [6, с. 421].

Квалификация митрополитов и других служителей сербской православной церкви как вольных или невольных марионеток российского самодержавия и синода сопровождается в статье Л. Чурчича рассуждениями об уровне, нанесенном сербской культуре русским влиянием: «Антиуниатской пропагандой русские обеспечили у сербов значительный рынок сбыта своих книг, утверждая, что только московские и киевские издания свободны от униатской пропаганды. Продажа книг сербам должна была приносить русским и немалую прибыль. Наконец, русская пропаганда способствовала также замедлению решения вопроса об открытии сербской типографии в Венгрии. Русских, несомненно, не устраивало появление сербской типографии, так как они лишились бы влияния на духовную жизнь сербов и вместе с тем больших денег, получаемых от книготорговли... Введением нового литературного языка у сербов русские затормозили создание новой сербской литературы, потому что писателям приходилось сначала выучивать незнакомый язык...» [6, с. 421].

Этот набор оценочных суждений, дискретирующих созидательные начала русско-сербских связей в XVIII в., далеко не нов, но обладает живучестью злачных сорняков. Поэтому вполне уместно напомнить аргументированные возражения Н. Попова против подобных высказываний, содержащихся в работах его современников. Н. Попов подчеркивал, во-первых, что в XVIII в. «русские книги и в подлинниках, и в сербских перепечатках или переделках давали готовое и вполне подходившее к тогдашним потребностям сербских школ и церковью удовлетворение»; во-вторых, что «только пройдя через славяно-русские школы, сербские писатели могли устоять перед напором католической пропаганды и перед школьными реформами австро-венгерского правительства, после чего уже не столь труден был переход к народному языку, задержанный не одним только влиянием русской литературы, но и внутренней политикой венского двора»; в-третьих, что ошибочно мнение, «будто бы русские книги по своим ценам делали невозможным соперничество им со стороны сербских» и, в-четвертых, что «нельзя согласиться и с тем, что русские книги своим влиянием совершенно будто бы вытеснили из употребления у сербов прошлого века тот язык и то правописание, которое мало-помалу развилось в прежних памятниках сербской письменности, так называемых „сербулях“» [3, с. 201—203].

Н. Попов очень убедительно писал о непрерывности употребления народного языка в сербской книжности и документации на протяжении всего XVIII столетия.: «...Как только дело коснулось составления книг с содержанием, взятым из практической жизни, так тотчас же обнаружилась необходимость обратиться к родному языку. Деловая же переписка как общин, так и частных людей держалась языка, который никак нельзя признать безусловным подражанием славяно-русскому языку» [3, с. 203]. В качестве примера он назвал сочинения и переводы Г. Венцловича, предназначенные для «сельчан и простых людей».

Для Н. Попова было бесспорно и очевидно, что принятие и освоение сербами русскоцерковнославянского языка не означало угасания традиций письма на народном языке. «Можно не колеблясь сказать, — утверждал он, — что сербские историки, порывшись поусерднее в своих старых архивах и библиотеках, откроют еще и другие, кроме уже приведенных

нами, указания на продолжение и в XVIII в. сербской письменности с народными признаками в языке и даже способами написания. Во всяком случае, вопрос о перерыве сербской народной письменности и о вытеснении ее литературой славяно-русской должен быть пересмотрен, причем ответ на него, конечно, придется изложить уже не в столь решительных выражениях, как это делалось до сих пор» [3, с. 204]. Обоснованность этого заключения Н. Попова многократно подтверждена исследованиями и открытиями современных филологов [7; 8].

Н. Попов первым обратил внимание на ограниченность социальной базы русскоцерковнославянского языка и литературы на этом языке у сербов. Развитие общественной активности народных масс в борьбе за национальное освобождение, улучшение правового и экономического положения сербского населения, ограничение прав церковной иерархии подрывали позиции церковнославянской книжности. В последние десятилетия XVIII в. писатели, в частности Досифей Обрадович и Эммануил Янкович, энергично выступают за культивирование народного языка в национальной литературе. Н. Попов писал, что сербская книжность, являвшаяся порождением сербско-русских связей, «могла продержаться до тех пор, пока политические обстоятельства и общественные отношения удерживали народную массу, преимущественно городское и сельское население, от участия в духовной и умственной деятельности, составлявшей до конца прошлого столетия как бы исключительную собственность господствующих и образованных классов» [3, с. 203—204].

Это высказывание созвучно требованию, которое настойчиво декларируется в современной теоретической литературе о литературных языках и их истории, но которым, к сожалению, нередко пренебрегают исследователи литературно-языковой истории. По словам М. М. Гухман и Н. Н. Семенюк, «для каждой рассматриваемой исторической эпохи должен ставиться вопрос о реальных носителях литературного языка и о тех социальных слоях, на которые ориентированы его нормы» [9].

Литературно-языковая реформа Вука Караджича под первоначальным девизом «Пиши, как говоришь» неимоверно облегчила доступ к литературе и достижениям культуры и науки для тысяч и миллионов людей. Многим из них для овладения новым литературным языком было достаточно научиться грамоте. Н. Попов прав, говоря, что «реформа Караджича, сознательно или бессознательно, содействовала поднятию городского и сельского населения и привлечению его к участию в общенародных делах» [3, с. 218].

Н. Попов упрекнул П. Кулаковского в том, что он не осветил в достаточной мере социально-политической подоплеку той ожесточенной борьбы, что велась вокруг нововведений Вука Караджича. С полным основанием он заявлял, что «борьба из-за реформы Вука Караджича не была только теоретическим спором в области филологии: эта была борьба ... двух эпох в сербской истории, разделяемых друг от друга и политическими событиями — постепенным высвобождением сербского княжества из-под владычества Турции и народными движениями, как в самой Венгрии, так и среди ее сербского населения. Оценка реформы Вука с этой точки зрения столь же необходима, как и со стороны литературно-филологической» [3, с. 217—218].

Говоря об усилиях соратников и союзников Вука, внесших вклад в осуществление литературно-языковых преобразований, Н. Попов подчеркнул: «...Главным помощником ему в этом отношении был сам сербский народ. Им созданы те песни, издание которых прославило имя Караджича в Европе и язык которых облегчил торжество его реформы» [3, с. 221].

Особо стоит обратить внимание на суждения Н. Попова о Е. Кошitare. Это крайне важно для оценки мировоззрения выдающегося русского ученого. В современных публикациях можно прочесть, что «близкий к славянофилам и не чуждый панславизму» [10] Н. Попов проводил в своих исследованиях одну мысль: «все славянские народы должны объединиться с помощью царизма...» [11]. Содержание рассматриваемой здесь статьи о русско-сербских связях в области культуры и языка и о реформе Вука Ка-

раджича заставляет усомниться в правомерности столь категоричных квалификаций. Как известно, российские славянофилы сдержанно или открыто неприязненно относились к реформаторской деятельности Караджича, усматривая в ней, особенно в преобразовании графики, отчуждение от России и от славянства, олицетворением которого была для них Россия. Вспомним, например, высказывания Гильфердинга, Будиловича. Одной фигурой был для славянофилов Ерней Копитар, стремившийся, по их убеждению, оторвать сербов от России и направлявший в соответствующее русло труды Караджича.

Н. Попов, сказав, что в кругу сотрудников и советников Вука Копитара заслуживает «почетного титула наставника», отметил: «...Едва ли кто возьмется утверждать, что без Копитара Караджич мог бы занять такое же высокое место в истории сербской литературы, какое он занимает теперь, и что его реформа пошла бы и без Копитаровых советов в том же направлении и тем же путем, какие были ею пройдены» [3, с. 220]. Н. Попов не усматривает ничего предосудительного в побуждениях и действиях Копитара и Вука Караджича. Внимание историка было сосредоточено на социально-исторической подоплеке существенных явлений и процессов в области культуры и языка у сербов в XVIII — первых десятилетиях XIX в. По-видимому, вопрос об идейных позициях Н. Попова и его отношении к славянофильской концепции нуждается в дополнительном сосредоточенном рассмотрении.

Статья Н. Попова «К вопросу о реформе Вука Караджича», в которой освещены важные аспекты русско-сербских связей, истории культуры и литературного языка у сербов, принадлежит к разряду работ, подлинная ценность которых раскрывается не в момент их появления, но позже, что обычно обусловлено новаторством или хотя бы своеобразием приемов исследования и интерпретации фактов.

Югославская исследовательница М. Бошков, изучая функционирование русской книги у сербов в XVIII в., отметила большую ценность трудов русских славистов конца XIX — начала XX в. «По актуальному значению методологических положений, — подчеркнула она, — следует особо выделить Нила Попова. Оценивая книгу П. Кулаковского о Вуке, он изложил свое видение русско-сербских связей, которое и для нас имеет ценность недостаточно использованных методологических положений в изучении нашей культуры XVIII в.» [12]. М. Бошков придает фундаментальное значение тезису Н. Попова о хронологических границах существования русскоцерковнославянских компонентов в культуре в зависимости от степени демократизма сербского общества. Она выделяет наблюдения Н. Попова над социальной базой русскоцерковнославянского языка, указания на его сословную соотнесенность.

С сожалением приходится констатировать, что работа Н. Попова известна и используется менее, чем она того заслуживает богатством своего содержания. Скажем, если бы А. П. Бажова, автор монографии «Русско-югославянские отношения во второй половине XVIII в.», воспользовалась фактическими сведениями, сообщенными в этой статье, она бы избежала некоторых немаловажных неточностей в освещении деятельности русских учителей у сербов, не стала бы, скажем, утверждать, что они «вели обучение на сербско-церковном языке или, как его называли, „сербульском“» [13]. А. П. Бажова обоснованно возражает некоторым югославским историкам и филологам, продолжающим утверждать, что употребление русскоцерковнославянского языка препятствовало «естественному» развитию литературного языка на народноречевой основе. Суждения и выводы Н. Попова, если бы они были приняты во внимание, могли бы значительно усилить ее контрдоводы.

Данными истории сербскохорватского языка, сведениями о литературно-языковой ситуации у сербов в XVIII — начале XIX в. и о реформаторской деятельности Вука Караджича оперирует В. К. Журавлев в книге «Внешние и внутренние факторы языковой эволюции» [14]. Не претендуя на общую оценку этой многоплановой и содержательной, хотя и далеко не безупречной в фактографическом отношении работы, выскажу убежде-

ние, что в ходе анализа следовало бы последовательно дифференцировать объект изучения: называемые одним термином «язык» народно-диалектная речь и литературный язык — это во многом автономные явления со своеобразной эволюцией. Кроме того, сосредоточенного анализа заслуживал вопрос о зависимости литературного языка от сословно-классовой иерархии общества в разные эпохи. В этом смысле представляют исключительный интерес факты сербской языковой истории. Если сопоставить написанное о литературно-языковой ситуации и ее динамике в сербских областях XVIII в. В. К. Журавлевым и сто лет назад Н. Поповым, сравнение окажется не в пользу первого. Отсутствие социально-исторического анализа тогдашних условий функционирования языка не позволило В. К. Журавлеву выявить факторы, способствовавшие стабилизации или, напротив, преобразованию литературного языка в его нескольких разновидностях.

Работа Н. Попова «К вопросу о реформе Вука Караджича», в которой освещена литературно-языковая обстановка у сербов в XVIII в. и раскрыта ее социально-историческая обусловленность, находится вместе с трудами И. И. Срезневского, А. А. Майкова, П. А. Кулаковского, С. М. Кульбакина, Г. А. Ильинского, М. Г. Долобо в ряду крупных достижений отечественной сербистике. Осмысление ее значения важно как для объективной оценки научных заслуг выдающегося слависта, так и для обогащения науки об истории сербскохорватского языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бернштейн С. Б. О некоторых вопросах изучения истории русского славяноведения. — Вестник Московского ун-та. Филология. 1979, № 4, с. 11.
2. Петровић Д. Павле Ровински и «други почетак» српскохрватске дијалектологије. — Научни састанак слависта у Вукове дане. Реферати и саопштења, књ. 3. Београд, 1973, с. 131—137.
3. Попов Н. К вопросу о реформе Вука Караджича. — ЖМНП, 1882, ч. 220, № 4.
4. Майков А. История сербского языка по памятникам, писанным кириллицею, в связи с историей народа. М., 1857.
5. Кулаковский П. А. Вук Караджич. Его деятельность и значение в сербской литературе. М., 1882.
6. Чурчић Л. Тобожба унијатска штамарија у Трнави. — Сборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 19, св. 3. Нови Сад, 1971.
7. Младеновић А. Типови књижевног језика код Срба у другој половини XVIII и почетком XIX века. — Филозофски факултет у Новом Саду. Реферати за VII међународни конгрес слависта у Варшави. Нови Сад, 1973, с. 46—52.
8. Гудков В. П. Рукописное сербское сказание о Косовской битве как документ истории литературного языка. — Сборник за филологију и лингвистику, књ. XVII/2. Нови Сад, 1974, с. 49—56.
9. Гухман М. М., Семенюк Н. Н. О некоторых принципах изучения литературных языков и их истории. — Известия АН СССР, серия литературы и языка. Т. 36, № 5, 1977, с. 446.
10. Аксенова Е. П. Попов Нил Александрович. — В кн.: Славяноведение в дореволюционной России. Библиографический словарь. М., 1979, с. 227.
11. Ахунд-Заде З. С. Нил Александрович Попов. Страницы жизни. — В кн.: Из истории университетского славяноведения в СССР. Сборник статей и материалов к 80-летию С. А. Никитина. М., 1983, с. 82.
12. Бошков М. Руска штампа на књига у нашем XVIII веку. — Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, књ. XVI/2, 1973, с. 534.
13. Бажова А. П. Русско-югославянские отношения во второй половине XVIII в. М., 1982, с. 191.
14. Журавлев В. К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. М., 1982, с. 99, 132—133, 195.



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В «ДНЕВНИКАХ» СТЕФАНА ЖЕРОМСКОГО

«Сто лет великой русской литературы — это русская революция до революции. Русская литература XIX в. — явление гигантское и столь отчаянное, что мы, приученные к катастрофам и падениям, едва верим, что были при этом... Русская литература, как воплощенная в книгах революция, бессмертной грозой разразилась в конце прошлого столетия над миром и над западной интеллигенцией», — писал Г. Манн [1]. К высоким достижениям русской литературы XIX в. обращались многие известные писатели прошлого, при этом одно из главных мест в истории ее связей с другими европейскими литературами занимает литература славянских народов, а особенно польского [2; 3].

Без преувеличения можно сказать, что из числа крупнейших польских писателей наиболее близким русской литературе является творчество Стефана Жеромского (1864—1925). В работах советских ученых В. В. Витт, Г. А. Гудимовой, Е. З. Цыбенко, а также польских исследователей Г. Маркевича, Е. Чухновой, Л. Язукевич-Оселковской и др. анализировались отдельные аспекты близости творчества Ст. Жеромского Ф. М. Достоевскому, Л. Н. Толстому, И. С. Тургеневу. Закономерным является и то, что именно «Дневники» писателя, которые он вел с 1882 по 1891 гг., оказались предметом новейших исследований¹. «Дневники» Жеромского — явление оригинальное, уникальное в своем роде. Они не только содержат «roman intime» (повесть о себе самом), но и дают необычайно ценную информацию об историческом периоде, когда жил Жеромский; отражают не просто факты биографии писателя, но и эволюцию его мировоззрения; содержат наброски, контуры будущих произведений [11].

Из «Дневников» мы узнаем, что Жеромский очень много читает на русском языке. Интересуясь прошлым славян, он знакомится в русском переводе с «Историей Болгарии» чешского слависта Ю. К. Иречека (Прага, 1876)², с «Историей славянских литератур» А. Пышина и В. Спасовича (Петербург, 1879 и 1881 гг.). Обилие экономических и социологических терминов, приведенных на русском языке, — результат глубокого изучения «Истории цивилизации в Англии» Г. Т. Бокля в переводе М. Бестужева-Рюмина. Можно полагать, что изучение им специальной литературы стимулировало чтение художественной.

В прогрессивной русской литературе молодой Жеромский открывает для себя свободолюбивые стихи Пушкина и «поэзию отрицания» Лермон-

¹ В рецензии на третий том «Дневников» Ю. Пшибось писал, что в будущем проза Жеромского будет читаться в своеобразном соотношении с «Дневниками», ибо они отражают духовное развитие писателя, выступают как тонкий литературный комментарий к прожитому [4]. См. также [5—8]. О русской литературе в «Дневниках» Жеромского см. [9; 10].

² Книга Ю. К. Иречека в переводе на русский язык Ф. Бруном и В. Палаузовым вышла в 1878 г. в Одессе.

гова³, который «особенно тонко умел воспевать каждодневные страдания и мучения» [12, с. 340]. В состоянии необычайного эмоционального и интеллектуального подъема юноша искал у них ответы на волнующие его вопросы. Затем, уже в более поздний период, он зачитывается русской прозой, цитирует роман Тургенева «Накануне», приводит на русском языке большой отрывок из рассказа «Контора» цикла «Записки охотника» (записи от 4 июля и 20 ноября 1886 г.).

Подтверждением глубокого знакомства Жеромского с русским языком и литературой являются его переводы из Пушкина и Лермонтова (1882), будучи студентом он переводит «Историю России» С. Соловьева (запись в «Дневниках» от 14 мая 1888 г.). С достаточным основанием можем считать, что Жеромский хорошо знал русский язык. Исследователи отмечали следы влияния русского языка на стиль «Дневников» [13]. Таким образом, знание языка способствовало живому контакту писателя с русской литературой. Исследование характера общения Жеромского с русской литературой, выявление различных аспектов связей с ней, определение значения ее в период становления его как писателя и является задачей данной статьи.

Жеромский имел ясное представление о русской литературе в ее историческом развитии. Однако у него были свои симпатии, различные привязанности в разное время, что отражает следующая дневниковая запись, не придерживающаяся историко-литературной хронологии: «Начал изучать русскую литературу: Тургенев, Пушкин, Лермонтов, Гоголь занимают меня в этом году» [12, с. 297]. Тургенев для него в это время «любимый и дорогой писатель», и позднее, в 1887 г., он отмечает: «Неизменно возвышается над всеми художниками Европы вечный философ, знаток человека, грустный мудрец — Тургенев» [14, с. 342]. К моменту данной записи о Тургеневе Жеромский знаком со многими произведениями европейской литературы, некоторые из них он анализирует в «Дневниках».

Жеромский изучает творчество старших современников-реалистов в отечественной литературе, посвящает специальный этюд М. Конопницкой. Цитируя ее стихотворение цикла «С полей и лесов», Жеромский комментирует: «Этих нескольких строк достаточно, чтобы Конопницкая заняла, пожалуй, первое место на нашем современном Парнасе. Тургенев, объективно и в такой же манере создавая образы крестьян, потрясал всю Россию от царя до мужика» [15, с. 429].

Жеромский уловил внутреннюю близость творчества Конопницкой и Тургенева. Указывая на важные особенности поэзии Конопницкой и достижения поэтессы, он отмечает умение тонко отразить в художественном произведении психологию страдающего крестьянина, его чувства, способ мышления и речь: «Поэтесса настраивается, вживается в духовный мир крестьян, отрекается от индивидуальности и тенденциозности ради изображения правды, которая бросается в глаза. Подобной способности не было и нет ни у кого из наших поэтов. Ибо для этого надо: 1) почувствовать всю глубину крестьянского горя, 2) почувствовать это горе так, как чувствует его крестьянин, 3) сказать о нем мужицкими словами, но без всякого при этом ущерба для художественности произведения» [15, с. 429].

В заключение Жеромский формулирует ряд требований, предъявляемых к художнику, и приходит к выводу, что поэтесса удовлетворяет всем им. Он не дает подробной разработки параллели Тургенев — Конопницкая, но сказанное им о поэтессе объективно верно для русского писателя.

Жеромский и Тургенев были близки в понимании категории народности художественного творчества. Давая определение народного писателя, Тургенев подчеркивал: «В наших глазах тот заслуживает это название, кто... как бы вторично сделался русским, проникнулся весь сущностью своего народа, его языком, его бытом... Для того, чтобы заслужить название народного писателя в этом исключительном значении, нужен не столь-

³ Жеромский познакомился в оригинале не только с лирикой Лермонтова, но и с романом «Герой нашего времени», с «Демоном» и «Маскарадом», что подтверждается дневниковыми записями от 25, 29 IX, 6 X 1885 г.; 10 II 1887 г. и др.

ко личный своеобразный талант, сколько сочувствие народу, родственное к нему расположение» [16, т. IV, с. 437].

Интересно также отметить, что Жеромский сравнивает произведения и Тургенева, и Конопницкой с картинами польского художника А. Гроттгера (1837—1867), в творчестве которого тема народа занимала ведущее место: «Существует внутренняя связь между „Записками“ Тургенева и картинами Гроттгера... В душе надолго остается какое-то печальное, неизгладимое чувство, которое растворяется только в слезах» [15, с. 419].

И. А. Гончаров очень точно определил причину такого сильного воздействия произведений русского писателя: «Тургенев, создавший в „Записках охотника“ ряд живых миниатюр, конечно, не дал бы литературе тонких, мягких, полных классической простоты и истинно реальной правды очерков мелкого барства, крестьянского люда и неподражаемых пейзажей русской природы, если бы с детства не пропитался любовью к родной почве своих полей, лесов и не сохранил в душе образа страданий населяющего их люда» [17].

Тургенев стремился к осуществлению в своем творчестве принципа «сохранения постоянной внутренней связи с жизнью» [16, т. V, с. 369]. В этих устремлениях польский писатель нашел много общего со своими задачами: «...чтобы написать польский роман, нужно сначала обойти всю Польшу, все увидеть, понять и ощутить. В недрах жизни действуют таинственные закономерности, которые нужно самому познать, оценить, вынести на дневной свет» [15, с. 440].

Много позднее, когда писатель создаст самые значительные свои произведения, русский критик отметит: «Жеромский — великий певец польской земли, ее полей и лесов, гор и лугов. Читая его в подлиннике, видишь эту землю, чувствуешь ее запах» [18].

Содержание следующей записи Жеромского о Конопницкой почти точно соответствует основным мотивам его рассуждений о Тургеневе: «Ее творческий почерк трудно сравнить со стихами наших поэтов, зато какая в нем необычная близость с рисунками Гроттгера. Поразительна общность настроения, склонностей и художественных приемов... Стихотворения нашей поэтессы и рисунки гениального художника — это одна юдоль слез... Эти два гениальных художника взаимно дополняют и раскрывают друг друга, паря на одной высоте. Здесь нет подражания, есть лишь общая художественная направленность, общая атмосфера чувств и симпатий и одинаково понятая любовь к родине» [15, с. 430].

Сам характер этой любви польский писатель следующим образом раскрывал в этюде о поэтессе: «...Это привязанность, которая никогда не ослабевает, ибо в основе ее лежит любовь не к идее родины, не к чему-то отвлеченному, а к земле, это переживание горя, как такового, ран, наготы и грязи. Так любит свою родину мужик. Таково это чувство у Конопницкой» [15, с. 431].

Детство Жеромского прошло среди чарующей природы свентокшижского края, с ранних лет он наблюдал горький, тяжкий труд крестьян окрестных сел. Рано столкнувшись с трудностями жизни, испытывая крайнюю нужду и лишения, он видел в родине опору: «...Как ты богата родная земля. Забыть тебя — значило бы забыть о своей матери. По-крестьянски люблю родину» [15, с. 433].

Размышляя о русской литературе, Жеромский сопоставляет с Тургеневым и другого отечественного писателя — Б. Пруса. Особенно ценил Жеромский повесть Пруса «Форпост» [15, с. 436], которая, как и «Записки охотника», глубоко тронула его реалистически созданными картинами из народной жизни: «В повести как бы нет и самого писателя... идеи повести не ощущаются авторскими. Это самая подлинная объективность. В этом отношении Прус приближается к Тургеневу...» [14, с. 275].

Именно знакомство с «Записками охотника», где русский художник «словно электрическим током прощизывал все общество, весь народ» [15, с. 419], сыграло особую роль в становлении Жеромского как писателя. Польский исследователь Г. Маркевич видит сходство рассказов Тургенева и Жеромского в идейно-тематическом, композиционном, стилистическом

планах [19], а советская исследовательница сопоставляет «Забвение», «Элегию» Жеромского с рассказами тургеневского цикла [20]. Действительно, в рассказах «Элегия» и «Ах, если бы мне дожить» присутствует рефлексия, близкая той, которая заполняла не одну страницу «Дневников», на тему духовных ценностей, которые хранит народ [21].

Жеромский неоднократно подчеркивал одаренность, талантливость, внутреннюю красоту польского народа: «Снова сенокос. Я слушаю пеньё крестьянок, которые ворошат сено, и начинаю все больше и больше понимать романтизм... Удивительно, как рождаются иногда такие складные рифмы в сердце девушки не знающей даже, что такое буква? Кто их заронил? Это вдохновение! Оно — в песне о возлюбленном Ясе, которая облегчает уставшей крестьянской девушке ее тяжелый труд. Давно, до школы, я часто спрашивал себя, откуда они знают столько стихов? И мне казалось, что эти песни сохранились со времен Яна Кохановского, о котором я тогда уже кое-что слышал. И вот теперь я с волнением слушаю звуки нашей подлинно народной, национальной, романтической музыки... Да, это народ создал поэзию, а поэты вознесли ее на вершины идеала» [15, с. 412].

Высоко ценя произведения на крестьянскую тему своих предшественников в национальной литературе, Жеромский глубоко понимает сложности народной жизни. Его творчество сближается с тургеневским, когда «с характерной для его творческой манеры остротой постановки социальных вопросов, апелляцией к общественной совести он все свое внимание направлял на один слой — самый бедный, самый неимущий» [22, с. 43].

«Дневники», где содержатся наброски будущих произведений писателя, свидетельствуют о том, что под влиянием Тургенева формировался реализм ранних рассказов польского художника.

Не менее значимы рассуждения Жеромского о романах «Новь» и «Накануне». Польский писатель считал роман «Новь» одним из самых лучших в новейшей литературе [12, с. 372]. Главный герой «Нови» «долгие годы сопутствовал Жеромскому на страницах „Дневников“, к этому образу неоднократно обращался он в собственном творчестве» [23, с. 51—75]. Жеромский даже сопоставлял себя с Неждановым, видя определенное основание для этого в некоторых гамлетовских чертах: «Я — не ревлюционер, я — не человек действия... я — рефлектирующий интеллигент, я — олицетворенное самокопание, поэтическая беспомощность, сентиментальность, я — романтик в шляпе позитивиста, человек минувшего поколения, который заблудился в современности, я — это шаг назад, нуль, я — Гамлет, Гамлет и еще раз Гамлет...» [15, с. 42]. Раскрывая свои творческие замыслы, он отмечает: «Я начал писать произведение, о котором думаю уже год. Я хочу нарисовать такого позитивиста — неудачника, романтика реализма, современного Гамлета, каким являюсь я сам» [14, с. 17].

Определение «романтик реализма», неоднократно повторяемое, Жеромский заимствовал из тургеневской характеристики Нежданова, которое русский писатель объяснял следующим образом: «Они тоскуют о реальном и стремятся к нему, как прежние романтики к идеалу. Они ищут в реальном не поэзию — эта им смешна, но нечто великое и значительное, — а это вздор: настоящая жизнь прозаична и должна быть такою. Они несчастные, исковерканные — и мучатся самой этой исковерканностью, как вещью, совсем к их делу не подходящей» [16, т. XII, с. 314].

Однако современный исследователь верно отмечает, что роман «Новь» «побудил молодого Жеромского не только к поиску духовного сродства с Неждановым, но также и помог ему в значительной мере осознать, что призванием писателя является служение обществу» [23, с. 55].

Через четыре месяца после принятия под влиянием «Записок охотника» решения: «Такой натурализм⁴ я приемлю и... таким путем хотел бы идти» [15, с. 419] Жеромский признается: «Прежде чем я начну с натура-

⁴ В. В. Витт обращает внимание на характерную для того времени запутанность терминов [22, с. 134].

листической точностью фиксировать дни моей жизни, мне хочется сказать о моем новом чувстве, о нашей новой религии... Да, это не что иное, как наша религия, наша вера и упование, насыщенная потребность, созревшая в последние дни одиночества. От прошлогоднего чтения Тургенева остались следующие слова: «Вы очень любите свою родину? — Это еще не известно... Вот когда кто-нибудь из нас умрет за нее, тогда можно будет сказать, что он ее любил... Вы сейчас спрашивали меня, люблю ли я свою родину? Что же другое можно любить на земле? ...» [15, с. 420].

Жеромский по памяти цитирует два отрывка из 14-й главы романа «Накануне», в которых очень ярко отражена не просто привязанность к родной земле, а подлинный патриотизм с такими его особенностями, как жертвенность и объединяющая борцов сила. За этой записью следуют полные исповедальности и глубокой искренности размышления: «... И мысль, что отныне я стану пламенным патриотом, утоляет мою печаль. Я не совершу ничего великого, но, может быть, я принесу какую-нибудь, пусть самую маленькую и незаметную капельку меда в родной улей... Я был тогда бы непомерно счастлив, и мои друзья могли бы сказать обо мне, что я ее любил...» [15, с. 421].

Приведенные слова Инсарова восемь раз цитировались Жеромским, имели для него программное значение. Размышления польского писателя о внутренней готовности служить «реальному божеству», «вечной жизни» — отчасти, осознание важности этого дела приближают его к нравственной и патриотической позиции героев русского писателя, к личности самого Тургенева. Для нас же особенно важно, что этот пламенный патриотизм, берущий «свое начало еще в детстве, в молитвах матери» [15, с. 420], развивался, углублялся под влиянием романа «Накануне», к которому Жеромский неоднократно обращался в процессе своей идейно-творческой эволюции.

Примечательно, что здесь открылась и новая «дон-кихотская» черта личности Жеромского, искренне предавшегося «великому таинству», служению цели «вне себя»: «...он знает мало, да ему и не нужно много знать: он знает, в чем его дело, зачем он живет на земле, а это — главное знание» [16, т. VIII, с. 174].

Русский писатель в статье «Гамлет и Дон Кихот»⁵ дает высшую оценку таким качествам личности, как «высокое начало самопожертвования», готовность «на великое новое дело». Именно они и станут определяющими в характеристике положительного героя последующих произведений Жеромского (панна Станислава в рассказе «Непреклонная», доктор Петр в одноименном рассказе).

В своей программной статье образы, созданные Шекспиром и Сервантесом, Тургенев рассматривал во вневременном аспекте. Он писал о том, что существуют два типа людей — «две коренные, противоположные особенности человеческой природы — оба конца той оси, на которой она вертится» [16, т. VIII, с. 172]. Тургенев писал также о возможности и даже необходимости соединения положительных начал, воплощенных в этих образах, в личности современной ему эпохи.

Познакомившись со статьей Н. В. Шелгунова о Тургеневе [26], Жеромский считает необходимым создание цельной картины творчества русского писателя и анализ не только «Записок охотника», но и романов «Дым», «Вешние воды». Что же касается «Стихотворений в прозе», то чтение их, глубоко тронувшее юного Жеромского, тоже нашло яркое отражение в «Дневниках», хотя и в опосредованной форме. Само лирическое начало «Дневников», связанное с темой творчества, поэзии, природы, родины, имеет глубинные ассоциации с конкретными произведениями Тургенева (характерны в этом смысле дневниковые записи от 24 II 1887 г., 21 III и 20 XI 1888 г.). В дневниковых заметках, зарисовках отражены и необыкновенное ощущение радости единения с природой [27], стремление проникнуть в ее тайны (стихотворение Тургенева «Деревня»), и близкий

⁵ Статья вышла в свет в 1860 г., в период революционной ситуации в России, и рассматривается как определенный комментарий к романам «Новь» и «Накануне» [24; 25].

тургеневскому в своем философском звучании мотив любви, которая «сильнее смерти... и страха смерти» (стихотворение «Воробей»), и тема героического подвига, готовности к жертве во имя счастья и гармонии (стихотворение «Порог») и др. Не без влияния «Стихотворений в прозе» польский писатель задумывает свои «Диалоги», а проникновенный лиризм «Иволги», «Вислы», «Междуморья» внутренне родственен поэзии «грустного мудреца». Верность своему учителю, «вечному философу и знатоку человека», Жеромский пронес через все творчество⁶.

Дневниковые записи свидетельствуют о том, что Жеромский, интересуясь историей русской литературы, основательно изучал критику, теоретические работы [28, т. 3, с. 197—198]. Он был знаком не только со статьей Шелгунова, но и с трудами французского ученого де Вогюэ, по несколько раз перечитывал разборы образов Рудина, Базарова, Раскольникова и других, принадлежащие перу его самого любимого в то время критика Г. Брандеса. Чтение критики способствовало более глубокому постижению самобытности русской литературы и культуры.

7 марта 1887 г. Жеромский записывает: «Вчера я почти всю ночь читал первый том „Преступления и наказания“ Достоевского. Ни Золя, ни Бурже, ни даже Прус не могут похвалиться таким знанием человеческой психологии. Рассуждения Раскольникова после совершения им преступления написаны с такой впечатляющей силой, что, потушив лампу, я в испуге бросился на кровать, чувствуя, что дальше читать просто невозможно — ты форменным образом проникаешься его мыслями, тебе кажется, что ты сам становишься маньяком... Эта психология выходит за пределы обычных чувств; я сомневаюсь, чтобы Достоевский сам пережил такого рода кризис. И в то же время каждая мысль отображена там настолько правдиво, что невозможно предположить, что все это вымысел. Безусловно, это гениальная интуиция, невероятное искусство отгадывания мыслей... Я проснулся сегодня утром с головной болью, чувствуя невыразимую радость оттого, что никого не убил» [15, с. 433—434].

Художественный мир Достоевского необычайно воздействовал на Жеромского своей новизной, вводил его в состояние некоторой растерянности и одновременно побуждал к еще не совсем осознаваемому стремлению раскрыть секреты творческого метода русского писателя. Осмыслия трагическую ситуацию Раскольникова, Жеромский находит много общего между нею и своим положением того времени: «задавленность бедностью», постоянные лишения и нравственные страдания. Чтение романа совпало с периодом, когда Жеромский наиболее болезненно ощущал принадлежность к «униженным и оскорбленным», обостренно воспринимал несправедливости жизни [15, с. 436, 439].

Отношение Жеромского к Достоевскому претерпело некоторую эволюцию от первоначальной сдержанности до значительно более позднего проникновения в глубину его психологического анализа. Весной 1887 г. Жеромский записывает: «На состояние человеческой души Достоевский имел твердый взгляд врача, лечащего умалишенных. Никто лучше него не знает силы бездны. По своей натуре Раскольников является меланхоликом, потрясенным страданиями народа и оживленным пламенной страстью сделаться спасителем. Нужда будит в нем еще большую меланхолию, и Раскольников мечтает, мечтает неустанно. Музой Достоевского как поэта является милосердие» [28, т. 3, с. 277]. Приводя эти фрагменты из работ Брандеса, Жеромский подчеркивает гуманизм Достоевского [28, т. 3, с. 280—281].

На Жеромского большое впечатление произвела психологически точная передача Достоевским страданий Раскольникова. Автор «Дневников» замечает тончайшие оттенки душевных движений героя, вызванных страданиями, находит их отзвуки и подобия в своих собственных состояниях, в мрачном восприятии действительности, меланхолии, ощущении трагической безысходности, надвигающейся катастрофы, одиночестве, напря-

⁶ Так, в романе «Краса жизни» (1912) Жеромский создает чарующий образ русской девушки Татьяны Поленовой, навеянный образами тургеневских героинь.

женной работе мысли, постоянном мечтательстве и т. д., особенно оценок в «Дневниках» за 1887 г. [15, с. 435, 437—438].

Следующая запись о Достоевском датирована 5 июля 1888 г.: «Читал Гейне... и роман Достоевского „Братья Карамазовы“... Измучил меня Достоевский.... Это не роман — это тяжелая работа, каторга. Каким же великодушным кажется Сенкевич, спасающий нас из объятий Достоевского» [28, т. 5, с. 153].

Сопоставление Сенкевича и Достоевского не было случайным. В ноябре 1887 г. в записях после прочтения повести П. Бурже «В сетях лжи» Жеромский вспоминает двух великих русских реалистов: «У Тургенева есть природа, хорошие и дурные люди, у Бурже — одно лишь преступление и для контраста введенные добродетельные манекены... мұка как в произведениях Достоевского» [28, т. 5, с. 367].

Определениями «мұка», «каторга», «тяжкие работы» неоднократно пользуется Жеромский в дневниковых заметках при характеристике собственного состояния при чтении произведений Достоевского. В сущности это было выражение реакции западноевропейского читателя, воспитанного на французской литературной школе. Жеромский открывает для себя новый тип художественного мышления, не укладывающегося в известные ему рамки литературных школ.

Пытаясь разобраться в поэтическом мире Достоевского, он вновь обращается к своим любимым, дорогим, понятным художникам. На фоне «классической» прозы Тургенева, Сенкевича, Ожешко Жеромский глубже проникает в суть поэтического новаторства Достоевского. В этом отношении интересно определение современного литературоведа: «Достоевский принадлежит к числу художников, произведения которых что-то уточняют, определяют, выделяют в личности каждого из нас; чтение его романов — момент биографии, читая его книги, мы проходим через поэтическое бытие такой интенсивности и сгущенности, что горизонт действительной жизни освещается заревом огромного художественного переживания, мы никогда больше не увидим мир таким, каким видели его до знакомства с сочинениями Достоевского» [29].

Проникновение в художественный мир его произведений — очень сложный процесс, своего рода испытание, сопровождающееся интенсивной работой интеллекта. Жеромский выдерживает это испытание, меняется его собственное видение бытия, он проникает в глубинные пласты структуры романа Достоевского, улавливает «полифонический принцип художественного мышления» [30], сам включается в «великий диалог», (по терминологии М. Бахтина): «Натурализм! Золя, Мопассан... Достоевский...—...чуждое изобретение... Не обвинять никого, а только описывать, видеть их собранных вместе! Это настоящее пиршество...» [28, т. 5, с. 164].

Современная польская исследовательница так комментирует цитированное нами утверждение польского писателя: «Представить героев произведения как участников большого диалога, но складывающихся в высшее единство и воплощающих образ мира» [31, с. 340].

Проникнув в сущность поэтики Достоевского, Жеромский создает в польской литературе произведения, близкие художественному миру Достоевского («Курган», «История греха», «Канун весны») ?

Жеромский был знаком не только с «Преступлением и наказанием» и «Братьями Карамазовыми», но и с «Подростком», «Бесами», «Записками из Мертвого дома», «Идиотом»⁸. С основными произведениями русского писателя Жеромский познакомился в период, когда вел «Дневники», позднее его интерес к творчеству Достоевского постоянно углублялся [31, с. 340—341].

Таким образом, можно отметить, что Тургенев и Достоевский в большей степени привлекали внимание Жеромского, что нашло отражение в дневниковых записях. Наиболее ценные из них, свидетельствующие о

⁷ Рассмотрение влияния Достоевского на творчество Жеромского выходит за рамки данной статьи.

⁸ Уже в новелле Жеромского «У врат безумия» обнаруживаются мотивы, восходящие к романам «Идиот» и «Подросток» [31, с. 333—334].

глубине проникновения в творчество Тургенева и Достоевского, приходится на период 1886—1887 гг., когда Жеромский живет в Варшаве, серьезно готовится стать писателем, основательно изучает шедевры мировой литературы.

Соединение «диалектики мысли» Достоевского и спокойного рисунка Тургенева в собственном творчестве было органично и чуждо эклектизму⁹. У великих русских писателей юный Жеромский учился различным граням мастерства, общение с Достоевским и Тургеневым было творческим процессом: «По мере того как я наблюдаю крестьянскую жизнь, мои понятия об искусстве расширяются и принимают форму нерушимых принципов. Я выработал свои принципы реализма, исходя не из критической литературы, не из эстетических теорий Брандеса, Тэна, Поля Бурже, Тургенева и Золя, а только из наблюдений» (8 августа 1888 г.). И затем он существенно уточняет: «...Я бы хотел писать так, чтобы французский критик, прочитав тургеневского „Рудина“ и мой роман, отметил, что в первом раскрыт русский характер, а во втором — польский» [15, с. 441—442].

Польская исследовательница Я. Урбаньская-Слиш пишет, что «по опубликованному „Дневникам“ автора „Пепла“ можно проследить, насколько привлекала его русская литература и одновременно пробуждала сопротивление, причем симпатии его явно были отданы Тургеневу и Достоевскому, а не автору «Войны и мира» [32].

Думается, такая категоричность не вполне оправдана. Жеромский с волнением воспринимал произведения Толстого: «Читал недавно „Войну и мир“ Толстого и был встревожен до глубины души, узнав о несчастье, которое постигло Наташу...» [33, с. 273]. Суть в том, что Жеромский несколько позднее увлекся творчеством Толстого. Дебютировавший молодой художник признавался: «Читаю Толстого и это чтение учит меня мудрости» [33, с. 273]; «Читаю „Войну и мир“ и учусь рвать собственные произведения» [34].

Можно говорить о влиянии Толстого на художественный метод Жеромского («Воскресение» и «История греха», «Война и мир» и «Пепел»), но это уже особый аспект и самостоятельная тема.

Мы встречаем на страницах «Дневников» «безупречного защитника человеческих прав, прорицающего мудреца» Салтыкова-Щедрина [35] (будущий писатель изучает мастерство сатирической типизации русского художника, пытается использовать некоторые его приемы в дневниковых записях), а также «русского вольнодумца» Писарева.

Жеромский характеризует содержание сатирического метода Писарева, отмечает гуманизм, «всепроникающий демократизм», подмечает главное — «ему критика нужна не ради нее самой, а для раскрытия своих идей» [15, с. 414—415]. Именно этого принципа Жеромский станет придерживаться и в собственных сатирических зарисовках.

Жеромский упоминает также Баратынского, Кольцова, Карамзина. Так, например, 18 января 1884 г. он делает заметку: «Сегодня читали повесть „Бедная Лиза“ Карамзина и превосходный исторический очерк „Марфа Новгородская“. Вещь эта, в особенности речь Марфы — ответ на требование Ивана Васильевича III — прекрасна...» [28, т. 1, с. 281].

Будущий писатель восхищался красотой и поэзией ранних произведений Гоголя, познакомился с очерками Г. Успенского, читал критические работы Белинского.

Таким образом, по «Дневникам» можно судить о том, что русская литература оказала значительное и непосредственное влияние¹⁰ на формирование личности Жеромского его идейно-творческое развитие и становление оригинального художественного таланта.

⁹ В новейших исследованиях рассматривается эта кажущаяся противоречивость любви Жеромского к прозе Тургенева и его собственного писательского творчества, во многом сближающегося с творчеством Достоевского [34, с. 265].

¹⁰ В период ведения Жеромским «Дневников» можно выделить различные виды контактных связей с русской литературой в его творческих начинаниях: перевод (Лермонтовского «Желания», стихотворений Пушкина), образные аналогии (новелла 1887 г. «У врат безумия» и произведения Достоевского), прямое влияние (контуры будущих рассказов на деревенскую тему, очень близких тургеневским «Запискам охотника»).

ЛИТЕРАТУРА

1. *Анисимов И. И.* Всемирная литература и социалистическая революция.— Вопросы литературы, 1958, № 8, с. 111.
2. Сравнительное изучение славянских литератур. Материалы конференции 18 — 20 мая 1971 г.
3. *Цыбелко Е. З.* Из истории польско-русских литературных связей XIX—XX вв. М., 1978.
4. *Przyboś J.* Nowy Żeromski.— Przegląd Kulturalny, 1957, № 40, s. 3.
5. *Adamczyk L. J.* Dzienniki jako dokument formowania się programu literackiego i poglądów estetycznych Stefana Żeromskiego.— Przegląd Humanistyczny, 1970, № 3, s. 1—33.
6. *Hertz P.* Młody Żeromski.— In: Miary i wagi. Warszawa, 1978, s. 33—36.
7. *Kucharski J.* Tworczość Stefana Żeromskiego w latach 1882—1895. Dzienniki, opowiadania, nowele. Gdańsk, 1974.
8. *Kulczycka-Saloni J.* Romantycy i pozytywiści w młodzieńczych lekturach Stefana Żeromskiego.— In: Pozytywizm i Żeromski. Warszawa, 1977, s. 69—122.
9. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, 1973, z. 97, s. 79—86.
10. *Slawia Orientalis*, 1976, № 1, s. 39—51.
11. Pamiętnik Literacki, 1976, z. 1, s. 15—32.
12. *Żeromski St.* Dzienniki, t. I. Warszawa, 1953.
13. *Stefan Żeromski.* W pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Studia i szkice. Warszawa, 1977, s. 276—291.
14. *Żeromski St.* Dzienniki, t. II. Warszawa, 1954.
15. *Жеромский С.* Собр. соч. в 4-х томах. Т. IV. М., 1958.
16. *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. М., 1960—1968.
17. *Гончаров И. А.* Собр. соч. Т. VIII. М., 1955, с. 108—109.
18. *Козло-ский Л.* Стефан Жеромский и трагедия польской интеллигенции.— Русское богатство, 1913, № 4, с. 289.
19. *Markiewicz H.* Prus i Żeromski. Warszawa, 1957, s. 108.
20. *Гудимова Г.* «Записки охотника» и ранние рассказы Жеромского.— В кн.: Литература славянских народов. Вып. 6. М., 1961, с. 207—217.
21. *Jakubowski H.* Nowe spotkanie z Żeromskim. Warszawa, 1967, s. 13.
22. *Витт В. В.* Стефан Жеромский. М., 1961.
23. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Katowice, 1967.
24. *Ефимова Е. Н.* К вопросу об идейном содержании романа «Новь» — Уч. зап. Орловского пединститута. 1963, т. 17.
25. *Буданова И. Ф.* Роман «Новь» в свете тургеневской концепции Гамлета и Дон-Кихота.— Русская литература, 1969, № 2.
26. Дело, 1870, № 2, 6.
27. *Żeromski St.* Dzienniki, t. III. Warszawa, 1956, s. 169.
28. *Żeromski St.* Dzienniki.— In: Stefan Żeromski. Dzieła, wyd. 2. Warszawa, 1963.
29. *Днепров В.* Идея, страсти, поступки. Из художественного опыта Достоевского. Л., 1978, с. 360.
30. *Балтин М. М.* Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979, с. 313.
31. *Jazukiewicz-Oselkowska L.* Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Stefana Żeromskiego. Warszawa, 1980.
32. *Урбаньская-Слиш Я.* Русская литература в Польше на рубеже XIX—XX веков.— В кн.: Русская и польская литература конца XIX — начала XX в. М., 1981, с. 204.
33. *Piotun-Noyszewski S.* Stefan Żeromski. Warszawa, 1928.
34. *Prus B.* Listy. Warszawa, 1960, s. 93.
35. *Żeromski St.* Elegie i inne pisma literackie i społeczne. Warszawa, 1928, s. 193.



О ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ БОСНИЙСКО-ГЕРЦЕГОВИНСКИХ ГОВОРОВ

1. Фундамент сербохорватской (сх.) диалектологии был заложен трудами А. Белича, М. Решетара, С. Ившича и других заслуженных исследователей. В начале века произошло обособление сх. диалектологии как научной дисциплины, занявшей одно из центральных мест в науке о сх. языке. Во второй половине столетия она модернизировалась в теоретическом и методологическом отношениях. Характеризуя их современное состояние, можно отметить, что на материале сх. говоров применяется структурный метод исследования и что работы по составлению лингвистического атласа разворачиваются оптимальными темпами, хотя в сравнении с тем, что сделано в данной области в некоторых других славянских странах, мы не можем быть полностью удовлетворены своими достижениями.

Сегодня сх. говоры исследуются в рамках нескольких лингвогеографических проектов — международных, национальных и региональных. Прежде всего, сх. языковая территория исследуется по программе такого крупного начинания, как Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА). В рамках этого международного проекта она охвачена сеткой из 77 пунктов. К настоящему времени полевая работа во всех этих пунктах завершена, а результаты исследований по более обширной южнославянской языковой территории (сх., словенские и македонские говоры) частично уже опубликованы (об этом еще пойдет речь ниже). Проект Общекарпатского диалектологического атласа (ОКДА) захватывает сх. территорию сеткой из 20 пунктов. Лексико-семантический материал по этому проекту даст много новых сведений о сх. говорах, поскольку подход к ним с позиций общекарпатской ареальной лингвистики позволит увидеть гораздо больше, чем это было возможно при той весьма низкой степени изученности сх. диалектной лексики, которая наблюдалась до недавнего времени.

Работа над Сербохорватским диалектологическим атласом (СХДА) связана, как это нередко бывает при реализации подобных проектов, с рядом затруднений различного характера. Нужно, однако, надеяться, что огромный собранный материал станет доступен исследователям и что в скорейшем времени будут опубликованы первые результаты этой работы.

2. Центральнo-штокавская область в последнее десятилетие охвачена лингвогеографическим исследованием в рамках пока что единственного на южнославянской языковой территории проекта регионального атласа. Речь идет о Боснийско-герцеговинском диалектологическом атласе (БГДА), работа над которым началась в 1974 г. при участии диалектологов из нескольких научных центров Югославии. Пока что можно лишь констатировать, что работы над этим атласом ведутся удовлетворяющими нас темпами и что в 1983 г. полевые исследования были завершены. В Институте языка и литературы в Сараеве (ИЯЛС) уже несколько лет ведется систематизация собранных материалов. Их научная обработка и публикация явятся одной из главных задач Института на ближайшие годы.

Развертыванию работ по БГДА предшествовало составление аннотированной библиографии по боснийско-герцеговинским (б.-г.) говорам [1], которая была подготовлена группой сотрудников Лингвистической комиссии Академии наук и искусств Боснии и Герцеговины и ИЯЛС. Существенно и то, что продолжается подготовка и публикация дополнений к этой библиографии, см. [2, 3]. Кратко остановимся на сведениях, которые сообщают нам эти библиографические источники.

Из общего числа 132 работ, посвященных целиком б.-г. диалектологической проблематике, 11 представляют собой монографические описания отдельных говоров (среди них — 4 все еще неопубликованные рукописи докторских диссертаций). Монографически исследованы следующие говоры: восточногерцеговинский (Д. Вукович, А. Пецо), говор Имотского края и Бекии (М. Шмундич), говор Рамы (М. Окука); из восточнбоснийских — говор Тузлы и окрестностей (М. Брабец), иекавско-штакавский восточнбоснийский (Дж. А. Яхич); из среднебоснийских — иекавско-шкакавские говоры долины Фойницы (Д. Брозович), говор Вареша (М. Жулич); из западнбоснийских — западнбоснийский иекавский (М. Демич), говор Змияня (Д. Петрович), западнбоснийский икавско-шкакавский (А. Пецо).

В 24 работах дается характеристика говоров на всех языковых уровнях, но без монографической цельности. 56 работ посвящены рассмотрению отдельных особенностей или комплексов особенностей в б.-г. говорах, главным образом на фонетико-фонологическом и акцентологическом материале. 23 работы представляют собой краткие сообщения о проведенных полевых исследованиях и важнейших их результатах. Наконец, 18 названий трудно отнести к какой-то из перечисленных групп; они касаются различных аспектов б.-г. диалектологической проблематики.

Из этого краткого анализа можно видеть, что в основном б.-г. говоры были предметом фрагментарных исследований (весьма различающихся по своим задачам и лингвистическим установкам, по времени проведения и по общетеоретическому и методологическому подходу). В этих работах отдельные проблемы рассматриваются в отрыве от диалектной системы, вне языковой структуры диалектного идиома. Количество монографических описаний сравнительно невелико — заметно преобладают краткие сообщения. В б.-г. диалектной области обнаруживается несколько обширных зон, которые до сегодняшнего дня оставались неизученными. Это северо-восточно-боснийские иекавско-штакавские говоры (к востоку от Тузлы в сторону Дрины), севернбоснийские иекавские говоры (штакавские и шкакавские), а также западногерцеговинские икавские. В то же время можно констатировать, что проведенными исследованиями была охвачена большая часть территории, а неизученные зоны составляют ее меньшую часть, хотя детально изученными можно считать только монографически описанные говоры. Однако следует сказать, что главные пробелы наших нынешних знаний состоят в том, что у нас все еще нет представления о прохождении ряда изоглосс, комбинации их пучков и «вееров», и в том, что диалектные системы крайне редко исследовались как единое целое, внутри которого действуют лингвистически обусловленные закономерности его развития. Новшества, состоящие в применении к исследованию этих говоров структурных методов анализа и в проведении работы по созданию атласа, обещают дать важные результаты.

До сих пор исследователи занимались главным образом фонетико-фонологическими, морфологическими и акцентологическими вопросами, тогда как словообразование, синтаксис и лексика обычно оставались за пределами их интересов (так, впрочем, обстоит дело с изучением диалектов повсеместно в славянском мире). Налицо явное отставание в исследовании лексико-семантического материала. Отдельные попытки систематического изучения лексики народного быта (см. [4]) пока что не получили широкой поддержки, и отмеченное отставание продолжает быть существеннейшим пробелом в современной б.-г. диалектологии с точки зрения охвата отдельных языковых уровней.

3. Недавно в Боснии и Герцеговине были опубликованы две работы,

в которых впервые дается научное описание сх. диалектного материала, осуществленное в рамках лингвогеографических проектов. Первая из них посвящена фонологическому описанию сх., словенских и македонских говоров на основе материалов ОЛА; авторами являются 26 диалектологов, представляющих все научные центры нашей страны [5]. В этой работе привлечены и данные по 13 пунктам на территории Боснии и Герцеговины. Это (двигаясь при их перечислении с востока на запад) Jasènik (срез Гацко), Žèra (Рогатица), Milići (Власеница), Višaka (Вареш), Špišnica (Сребреник), Tramošnica (Градачац), Krèševo, Lüg (Ябланица), Drvètine (Бугойно), Dòbretići (Яйце), Grude (Любушки), Guber (Ливно), Tòhovo (Бихач). Таким образом, в проекте ОЛА восточнобоснийская территория (междуречье Босны и Дрины) охвачена наиболее густой сеткой (5 пунктов). Далее следуют говоры среднебоснийские (междуречье Босны и Врбаса — 3 пункта), западногерцеговинские (2 пункта), центральногерцеговинские и восточногерцеговинские (по 1 пункту) и западнобоснийские (долина Уны, 1 пункт). На восточнобоснийской территории взяты по два пункта с мусульманским и хорватским населением и один с сербским, на среднебоснийской — два пункта с хорватским и один с мусульманским населением, на западногерцеговинской — два пункта с хорватским населением, на центральногерцеговинской — один с мусульманским, а восточногерцеговинская и западнобоснийская территории представлены пунктами с сербским населением. Итого сетка ОЛА на б.-г. территории охватывает 6 пунктов с хорватским, 4 с мусульманским и 3 с сербским населением. Сетка пунктов здесь, конечно, очень редка: один пункт приходится на 3933 кв. км.

Фонологическое описание данных из 13 б.-г. пунктов дает нам новый материал и возможность определения отношений между соответствующими говорами по ряду фонологических признаков, релевантных и для центрально-штокавского ареала. Освещены многие важные фонетические и, акцентологические явления в этих говорах: вокализм, консонантизм, дистрибуция гласных и согласных фонем, консонантные сочетания, просодические типы и их сочетаемость с существующими синлабематами. Отдельно даны выводы относительно истории вокализма, консонантизма и просодии, что придает всей интерпретации материала завершенность: явления прослеживаются от их исторических основ в праславянском языке до состояния в современных говорах. Данные, во всяком случае, проинтерпретированы на современном уровне, хотя при таком подходе остаются нераскрытыми контрасты между говорами, что, конечно, в работе такого типа (с учетом характера ОЛА) и не было обязательно. Интерпретированные подобным образом данные принесут пользу и исследователям б.-г. диалектного комплекса, работающим над БГДА, особенно в качестве образца того, как могут интерпретироваться диалектные системы (в данном случае фонологические) в духе современной лингвистической теории и методологии.

4. В 1974 г., как уже упоминалось, началась работа над БГДА — проектом, носящим официальное наименование «Боснийско-герцеговинский диалектный комплекс — синхронное описание и соотношение с современным литературным языком». С 7 по 9 октября 1974 г. в Бания-Луке прошло совещание по изучению б.-г. говоров, которое и явилось официальной отправной точкой работы над БГДА. На совещании был обсужден ряд проблем и идей, высказано немало предложений в связи с концепцией работы над атласом и ее различными лингвистическими и внелингвистическими аспектами (см. [6]). Обсуждался и ряд кардинальных проблем теоретико-методологического характера, среди которых можно выделить следующие: а) каким способом использовать вопросники ОЛА и СХДА и при каком их упрощении они могут считаться релевантными и применительно к б.-г. региону; б) какое установить количество вопросов в вопроснике и какую густоту сетки обследуемых пунктов — отдать ли предпочтение большему количеству вопросов при более редкой сетке пунктов или меньшему числу вопросов при более густой сетке; в) какая доля вопросника должна быть уделена проблеме соотношения диалекта с лите-

ратурным языком — следует ли увеличить число подобных вопросов или сосредоточиться на характеристике самого по себе диалекта; г) в какой мере вопросник должен охватывать и формы б.-г. разговорного языка¹ — включить ли соответствующие вопросы или использовать дополнительную анкету с иной сетью пунктов; д) как отразить в вопроснике проблемы городской диалектологии — может ли он охватить и городские социолекты или это в рамках проекта БГДА неосуществимо; е) как поступать с ономастическим материалом — охватывать и его или же создавать особый ономастический атлас; ж) включить ли в исследование материал письменных источников в диахроническом плане (старые тексты и т.п.); з) в какой мере при обработке материала могут найти применение средства экспериментальной фонетики и компьютерная обработка лингвистических данных; и) как в рамках данного проекта осуществлять взаимодействие с другими научными дисциплинами — историей, этнографией, фольклористикой и т.п.; й) следует ли применить к современным говорам структурный метод и как сочетать его со сравнительно-историческим; к) какова конечная цель проекта: во-первых, создать ли монографию о б.-г. говорах по образцу существующих монографических описаний и курсов диалектологии, или ориентироваться на синтез с рассмотрением различных проблем и изоглосс, во-вторых, как быть с публикацией карт — составлять ли карты только по наиболее важным изоглоссам или картографировать все изоглоссы, объединить ли карты с текстом или печатать отдельно. Все эти вопросы, которые возникают и в других случаях при подготовке диалектологических атласов, были поставлены и рассмотрены на совещании. На некоторые из них были даны конкретные ответы, проявились и определенные различия во взглядах. Все высказанные точки зрения были приняты во внимание, чтобы при осуществлении проекта найти конкретные решения соответствующих проблем.

5. После совещания началась разработка сетки пунктов и вопросника. Коллегия Проекта (в составе академиков. Й. Вуковича, А. Пецо, Д. Брозовича и д-ра Д. Вуичича) остановилась на сетке из 225 пунктов (при этом один пункт пришелся в среднем на 227 кв. км). Такой замысел даст возможность на примере одного из участков с х. диалектной территории, известной своей сложностью, показать все релевантные характеристики в их многообразии и многослойности. Таким образом станет возможным уточнить ряд изоглосс, поскольку густота сетки достаточна для выявления их конфигурации, изломов и крайних точек, равно как и для определения их комбинаций (объединение изоглосс в пучки, или же их более или менее значительное расхождение) — и все это применительно к территории, которая по своей сложности в этнографическом и особенно конфессиональном отношении занимает уникальное место в славянском мире. Из общего числа пунктов на долю Восточной и Центральной Герцеговины приходится 29 (что составляет 12,89% всей сетки). Среди них 13 сел с мусульманским населением, 12 с сербским и 4 с хорватским. Восточная Босния (междуречье Дрины и Босны) охвачена наиболее многочисленной сеткой — 83 пункта (36,89% их общего числа). Из них 37 имеет мусульманское, 33 — сербское и 13 — хорватское население. Центральная Босния (междуречье Босны и Врбаса) представлена 53 пунктами (23,56% всей сетки). В их числе 23 мусульманских, 19 хорватских и 11 сербских сел. Западная Герцеговина представлена 16 пунктами (7,11% общего числа), в том числе 14 с хорватским и 2 с мусульманским населением. И, наконец, Западную Боснию представляют 43 пункта (19,11% всей сетки), в том числе 21 с сербским, 16 с мусульманским и 6 с хорватским населением. Вся сетка пунктов распределяется следующим образом: мусульманское население имеет 91 пункт (что составляет 40,44% их общего числа на б.-г. территории), сербское — 76 (33,78%) и хорватское — 55 (24,44%). Обратим внимание на то, что подобное распределение отобранных пунктов по конфессиональному признаку сильно отли-

¹ Имеется в виду региональный вариант сбщенационального сх. языка (главным образом, речь городских жителей).— Прим. перев.

чается от соотношения, которое имело место в сетке пунктов, обследованных по проекту ОЛА. Как уже упоминалось, в этом проекте б.-г. территория была представлена 6 пунктами с хорватским населением (что составляет 46,15% общего числа б.-г. пунктов в ОЛА), тогда как в БГДА число хорватских сел меньше числа мусульманских или сербских.

6. «Вопросник для обследования б.-г. говоров» [7] был составлен Коллегией Проекта. За его основу, в соответствии с рекомендацией Совещания в Бая-Луке, были взяты вопросники ОЛА и СХДА. Вопросник состоит из 20 тематических и грамматико-синтаксических разделов. По содержанию он охватывает все сферы народного быта, а отдельная группа вопросов посвящена социалингвистическим аспектам диалекта как функционального идиома, зависящего от изменений той среды, где он используется. Однако в основном вопросник ориентирован на синхронное описание говоров, на установление изоглосс, которые пересекают б.-г. диалектную территорию и которые рассматриваются как результат действия внутренних закономерностей диалектного развития и в то же время как результат воздействия внелингвистических факторов, которые исторически определяли собой формирование б.-г. диалектной мозаики в ее нынешнем виде. Общее число вопросов (которые строятся по принципу «от слова к значению») равно 2058, но фактически их больше. Дело в том, что, например, вопрос № 1 имеет следующую формулировку: LFSm 1. Nsg glava, что означает, что он расчленяется на три вопроса. Следует установить, во-первых, наличие *лексемы* (L), во-вторых, ее *фонетико-фонологический* состав (F) и, в-третьих, *семантику* (Sm). За счет такого расчленения количество вопросов достигает 3509. Наибольшее число из них касается фонетики и фонологии (1201, т. е. 34,23% общего числа вопросов). На просодию приходится 688 вопросов (19,61%), на морфологию 596 (16,98%), на лексику 501 (14,28%), на словообразование 211 (6,01%) и на семантику 204 (5,81%). 25 вопросов связаны с формами глаголов *biti* и *htjeti* (0,71%) и 73 касаются синтаксиса (2,08%). Поскольку за основу были взяты вопросники ОЛА и СХДА, немалое число изоглосс, релевантных в общеславянском и сх. масштабе, подлежит уточнению на более ограниченной территории, но при более густой сетке пунктов. Важно и то, что вопросник уделяет большое внимание лексико-семантическому материалу, что было необходимо, особенно с учетом факта значительного отставания в исследовании лексики б.-г. говоров, которые в пределах сх. языковой территории представляют особый интерес своей многослойностью. Очень важно для нас и то, что БГДА предусматривает также уточнение большого числа изолекс и изосем, охватываемых вопросником ОЛДА. Его материал может поэтому быть успешно использован при прослеживании лексико-семантического слоя карпатизмов и балканизмов на одном из западных участков южнославянского ареала.

Из 705 вопросов лексико-семантического характера 74 имеют соответствия в вопроснике ОЛДА. Это вопросы относительно следующих лексем из вопросника БГДА (в приводимом перечне римские цифры обозначают номера тематических групп по вопроснику ОЛДА, цифры без скобок — номера лексем по вопроснику ОЛДА, цифры в скобках — номера лексем по вопроснику БГДА):

1. Лексика народного быта: 6. greda (547); 13—14. dimnjak, odžak (601); 19. tavan, šiša (604); 21. prozor, pendžer, okno (579); 23. ljestve, merdevine, lotre (605); 29. tor, obor (652); 39. staja, štala (651); 59. kolač (639); 60. ograda, plot, tarabe (546); 74. jastuk (612); vreća, džak (695); 86. vatra, oganj (584); 88, 95. žarač, vatralj, ožeg (587); 122—129. čakšire pantalone, hlače (512); 140. dugme, puce (507); 150. burma, vjenčani prsten (1246); 153. opanak (518); 164. bačva, bure (648); 176. muzlica, vedrica, kravljača (932); 199. tanjir, tanjur, pjat (701); 22. doručak (761); 204. ručak, objed (763); 206. užina (764); 207. večera (765); 215. pura, kačamak, žganci (723); 227. kvas, kvasac (704); 238. čvarci (kakrdaljci) (738); 242. kajmak, skorup (933); 245—247, 249. surutka, sirutka (929); 261. sir (927), 273. died, dedo (399); 274. baka, nana, nena (403); 275. ujak, dai-dža (428); 276. stričevi, amidže (427); 297. mlada (469). II. Верования,

обряды, обычаи: 318. groblje, harem (1520). IV. Части человеческого тела, болезни: 339. jetra (160); 344. ječmin, ječmičak (smičak) (45). VI. Растительный мир: 391. jela (1139); 404, 405. žir, želud (1145); 415. kukuruz (816); 417. krompir, krumpir, krtola (1209); 420. kupus (1197) и zelje (1198); 423. klas (808) и klip (817); 425. kočanj (818); 432. pečurka (1153) и gljiva (1154). VII. Сельское хозяйство: 450. ular, oglav (914); 453, 454. kosac (787); 457. daska (kod rala) (793); 458. raonik, lemeš (791). IX. Орудия труда; ткачество; пчеловодство: 512. košnica, ulište (1099). XI. Животный мир: 524. jež (1081); 525. vjeverica (1072); 526. pacov, štakor (stahor, stavor) (1078); 529. pijetao, horoz, kokot (1018); 535. pastrm(ka), pastrva (1083); 536. živad, živina, perad (1038); 539. stoka, marva, blago, hajvan (873); 541. jarac, prč (876); 542. nerast (952); 543. prase, krme (953); 550. štroji, škopi (962); 568. želudac, stomak (drob) (157). XII. Животноводство: 623. jare, kozle (877); 679. čoban(in), pastir (948); 714. zvono, bronza, bronca, mjedjenica (1567). XIII. Рельеф: 744, 747. brdo, brijeg (1290); 765. izvor, vrelo (1323); 770. vir (1334). XIV. Явления природы: 775. krupa, grad, led, tuča (1351).

7. Одновременно с началом работы над проектом БГДА был учрежден «Боснийско-герцеговинский диалектологический сборник» (BHDZ) — третье серийное издание по сх. диалектологии (после «Сербского диалектологического сборника», который начал издаваться в 1905 г., и «Хорватского диалектологического сборника», первая книга которого вышла в 1956 г.). Первый выпуск «Сборника» появился в 1975 г., а к настоящему времени вышли еще два выпуска (в 1979 и в 1982 г.). Главным редактором первых двух книг был акад. Й. Вукович, после его смерти этот пост занимает акад. А. Пецо.

В первом выпуске [8, knj. I] опубликованы работа А. Пецо «Икавско-шчакавские говоры Западной Боснии (часть 1: Введение и фонетика)» [8, knj. I, s. 7—264], библиография работ по б.-г. говорам [1] и вопросник для обследования б.-г. говоров.

Для нас с точки зрения лингвогеографии особенное значение представляет второй выпуск [8, knj. II], в который вошли первые результаты научной обработки части материала, собранного по проекту БГДА. В первой части книги [8, knj. II, s. 7—157] дается обзор материала, собранного в 35 пунктах Северо-Западной Боснии, в междуречье Уны и Врбаса. Группа авторов (Д. Вуичич, А. Пецо, М. Дешич и Д. Брозич) выделила наиболее существенные фонетико-фонологические, просодические и морфологические особенности говоров этой части Боснии и детально рассмотрела их. О своем подходе к материалу авторы во вступительном разделе пишут: «Наша цель, по крайней мере в настоящей момент, — опубликовать часть этого материала и сделать его доступным для изучения, с одной стороны, и дать некоторый обзор этого материала, с другой. В соответствии с этим, здесь идет речь не о совокупности исчерпывающих описаний классического типа, принципиально не важно, что предметом изучения являются небольшие регионы, а в большей мере о совокупности обзоров по отдельным диалектным явлениям и существенным проблемам. Нам представляется, что работы такого характера значительно более наглядны и информативны и что они дают больше возможностей для прослеживания определенных явлений не только в небольших регионах. Нет сомнения, что подобное начало работы, ориентированное на получение первичных сведений о распределении изоглосс наиболее важных диалектных явлений, на дальнейших этапах осуществления данного проекта сделает возможным создание более широких и синтетических исследований по б.-г. диалектному комплексу с рядом картографических иллюстраций, что и является конечной целью всей нашей работы» [8, knj. II, s. 9—10]. Руководствуясь такой концепцией, авторы обращают внимание на наиболее релевантные диалектные черты, причем делается это на примере такого территориального массива, который фактически представляет собой область взаимного наложения двух диалектных типов — икавско-шчакавского и иекавско-штакавского. Затем прослеживаются некоторые крупные генетико-типологические связи между говорами этой

территории — это успешно осуществлено благодаря обилию нового, доселе неизвестного, материала и благодаря его не слишком пространному, но проблемно ориентированному комментированию и толкованию. 19 рассмотренных в общей сложности изоглосс отражают ряд важных фонетических и просодических особенностей северо-западной части Боснии, между Врбасом и Уной. Относительно каждой из этих изоглосс дается отдельный комментарий и большое количество примеров с точным обозначением номеров тех пунктов, где они зафиксированы. Это позволяет конкретно проследить в данной части боснийской территории за распределением наиболее релевантных особенностей, которые важны для характеристики и б.-г. говоров, и сх. говоров вообще. Исследованный в работе участок территории предстает как пространственная структура с установленным распределением внутри ее диалектных особенностей, но в то же время как единое целое, которое за счет своей внутренней дифференциации находится в конкретных, подтвержденных материалом соотношениях с более широкими диалектными массивами, в данном случае — с икавско-щчакавским массивом Центральной и Западной Боснии и с иекавско-штакавским массивом Восточной Герцеговины. Если, например, выделить особенности смещения тембра гласных в некоторых лексемах (gláva: glá^ova; vráta: vrá^ota, glâd, : glâ^od, já: já^o), то материал всех 35 пунктов очень четко сводится в единую пространственную картину. В четырех названных лексемах мы наблюдаем нормальный тембр гласного на большей части территории, тогда как островки со смещением тембра сконцентрированы только на крайнем северо-западе (левобережье Уны) и на участках нижнего и среднего междуречья Уны и Саны, а также Саны и Врбаса. В самой нижней части течения Саны и далее до Савы это смещение представлено только в лексеме glava (glá^ova). Если далее сопоставить эти явления с ареалами фонетического качества гласного *a* в лексеме pòčas, выявляется, что смещение тембра в сторону произношения pòca^es характеризуется значительно большим разбросом и что данная лексема с гласным смещенного тембра обнаруживается и на других участках западнобоснийской территории. Другой пример: если в разделе, посвященном просодии, рассмотреть ареал акцентного типа stàra в соотношении с типом stâra и изобразить его изоглоссой на карте, то эта особенность позволит сделать вывод о внутренней дифференцированности территории и в то же время о том, что данная особенность, ранее отмечавшаяся редко, характерна только для говоров одного участка на северо-западе Боснии. Карты изопросодом свидетельствуют, что эти изоглоссы ведут себя самостоятельно и что совпадение их наблюдается в весьма малом числе случаев. Налицо значительное число акцентных комбинаций по отдельным лексемам. Сложность ситуации можно проиллюстрировать словом čovjek, čovjeka, которое даже в пределах северозападнобоснийской территории выступает в 10 вариантах (čövjĕk, čövjeka; čövjek, čövjeka; čövjek, čövjĕka; čö-vjek, čövjeka; čövjek, čövjeka; čövjek, čövjeka; čövĕk, čöjka; čövjek, čöjka; čöjk, čöjka; čöjk, čbjka). Наблюдаемые ареалы показательны в ряде аспектов. Прежде всего, с точки зрения дифференцированности территории: «В первую очередь, юг достаточно отчетливо противопоставляется северу, остальные же оппозиции несколько более расплывчаты. На юге мы имеем две зоны — восточнее и западнее Саны. На севере три зоны — ориентировочно это междуречье Врбаса и Саны, междуречье Саны и Уны и территория к западу от Уны. В северных зонах высока концентрация данных, интересных в диалектологическом отношении, причем для всех зон верна формулировка, согласно которой участки, более близкие к центру массива, более интересны, чем периферийные (по отношению ко всему массиву в целом) участки каждой зоны» [8, knj. II, s. 116]. Уже само по себе такое распределение указывает нам на некоторые лингво-географические особенности территории, в заселении которой участвовали разнонаправленные миграционные потоки. В то же время это распределение служит очень важным материалом для выяснения соотношения между икавскими и иекавскими говорами: «Говоря о регионе в целом, нельзя утверждать, что в акцентном отношении икавские и иекавские

говоры компактно противопоставляются друг другу. Иначе говоря, распределение акцентных явлений слабо связано с распределением рефлексов ятя, и часто одни иекавские говоры оказываются в этом отношении более сходны с какими-то икавскими, чем с другими иекавскими, и наоборот» [8, knj. II, s. 116]. Несомненно, подобные лингвогеографические факты позволяют скорректировать и существовавшие представления о генезисе говоров: «Во всяком случае, традиционная картина, предполагающая сосуществование на западнобоснийской территории гомогенных старожильческих икавско-шкакавских и гомогенных переселенческих иекавско-штакавских говоров, выглядит сейчас чрезмерно упрощенной или просто неверной. Акцентологические данные показывают, что расстояние между пунктами исходной (до переселения) локализации иекавско-штакавских говоров должно было быть очень велико, что в миграциях должны были участвовать и шкакавские иекавские (т. е. восточнобоснийские) примеси, что штакавский инфильтрат в икавских говорах (или в тех говорах, которые еще имеют преимущественно икавский характер) должен был быть не только иекавским, но и икавским [8, knj. II, s. 116]. Все эти диалектные характеристики впервые предстают в лингвогеографическом освещении, что и делает возможной их новую и более целостную трактовку. Существенно и то, что появляется основа для конкретных выводов о соотношении диалектной дифференциации с конфессиональной в специфической для Боснии и Герцеговины ситуации сосуществования трех национальных групп: «Что касается соотношения диалектных характеристик с национальной принадлежностью населения отдельных пунктов, то можно утверждать, что расположение пункта в той или иной зоне существенно не в меньшей мере, чем национальная принадлежность его жителей. Теоретически возможны, но практически не существуют ни общемусульманские, ни общесербские, ни общехорватские особенности языка. Самое большее, что можно сказать в этом отношении — это то, что обнаруживаются отдельные черты, представленные только в пунктах с населением определенной национальности, но нет таких черт, которые были бы представлены во всех пунктах с населением определенной национальности и ни в каких пунктах с населением двух других национальностей. Так, например, акцентуация типа *dòvedē* и *ìspreċē* отмечена только в сербских пунктах, но не во всех: первый пример зафиксирован в 60% ответах из сербских пунктов, второй — в 56,25%. Если же какая-либо особенность обнаруживается во всех пунктах с населением определенной национальности, она заведомо окажется широко представленной и среди населения двух других национальностей. Так, например, при словообразовательно-акцентологическом исследовании слов типа *Mehinica* мы обнаруживаем один и тот же тип (с разными акцентными вариантами) во всех мусульманских пунктах, но он представлен и в 68,75% сербских пунктов, и в 50% хорватских. Таким образом, различия носят в первую очередь количественный, а не качественный характер...» [8, knj. II, s. 117].

При рассмотрении материала по иекавскому отражению ятя в долгих слогах наряду с «классическими» рефлексами *ĭje* и *ijè*, отмечаются и рефлексы *ijĕ* и *ijĕ* с удлинением второго слога, которые в словах с исходным восходящим ударением появляются даже чаще, чем «классические» рефлексы. Долгое восходящее ударение на втором слоге — распространенное явление в иекавских говорах. Оно отмечается в говоре Восточной Герцеговины [9, с. 51], в междуречье Саны и Уны и в более западных районах. Вследствие такой ситуации с иекавскими говорами перед сх. диалектологией встает проблема установления изоглосс *ijĕ* и *ijè* и даже возникает вопрос о том, присутствует ли вообще в современных говорах «вуковский» рефлекс *ijĕ*. Решетар уже давно высказал мнение, что даже собственно восточногерцеговинские говоры под восходящим ударением имеют *ijĕ* (или *jĕ*) и что краткий *e* в этих случаях здесь вообще не представлен (см. [9, с. 52]). В правильности этого вывода впервые усомнился проф. Белич. Изучение иекавской территории, проведенное в последнее время, также не подтверждает мнение Решетара. В особенности противоречит ему положение в ускокском, пивско-дробнякском, крешевско-лепеничком, а также в

иекавско-штакавских восточнобоснийских говорах (подробнее об этой проблеме см. [10, с. 183—193]). Согласно полученным мною результатам, в восточнобоснийской иекавско-штакавской зоне $i\dot{e}$ и $i\dot{e}$ являются в действительности единственными рефlekсами ятя в долгом слоге, а удлинение типа $i\dot{e}$ и $i\dot{e}$ не представляет собой диалектной особенности: оно отмечается только в нескольких примерах с явной экспрессивной окраской (ср. объяснение подобного удлинения в говорах Пивы и Дробняка у Вуковича [11, с. 14—16]). В едином обширном массиве говоров Восточной и Юго-Восточной Боснии представлены только формы типа $s\dot{i}j\dot{e}no$, $b\dot{i}j\dot{e}l$; $m\dot{l}i\dot{j}\dot{e}ko$, $s\dot{i}j\dot{e}lo$. Однако материал из 35 пунктов Северо-Западной Боснии свидетельствует о преобладании рефlekса $i\dot{e}(bi\dot{j}\dot{e}lo, si\dot{j}\dot{e}lo)$. Что касается распространения изогlossы $i\dot{e} : i\dot{e}$, то современные диалектологи склонны считать, что изогlossа удлинения $i\dot{e}$ в $i\dot{e}$ не прерывается, доходя, прежде всего, до южной части новоштокавского региона (см. [12]); однако, как мы видели, новейшие исследования этого не подтверждают. Далее, уже давно вставал вопрос о том, в какой мере современные иекавские рефlekсы ятя действительно двуслоговые. Имеющиеся данные приводят к выводу, что двуслоговые рефlekсы в некоторых иекавских говорах (особенно в Восточной Герцеговине и Черногории) носят универсальный характер и не обнаруживают органической тенденции к стяжению в один слог (см. [11, с. 12]). Однословные рефlekсы характерны для западных иекавских говоров, но встречаются (исключая боснийские городские говоры, занимающие в этом плане особое положение) и в южной части иекавского массива. Материал из междуречья Врбаса и Уны подтверждает эти общие выводы, конкретизируя в то же время реальное соотношение между одно- и двусловными рефlekсами (можно все же констатировать, что двуслоговые рефlekсы ятя чаще встречаются в долгих слогах).

При рассмотрении геминат типа ${}^n n$, ${}^m m$, ($jed\dot{a}^n n\dot{e}s$, $Muh\dot{a}^m m\dot{e}d$) обнаруживается, что для данных говоров характерна геминация согласных с продлением имплозивной части, но что упрощение группы dn осуществлено непоследовательно и не повсеместно (ср. $rod\dot{n}\dot{e}$ — это произношение отмечено во всех пунктах). В одной из новейших работ специально изучено появление геминации типа $nn < dn$ ($rod\dot{n}\dot{e}$, $gl\dot{a}nna$, $z\dot{e}nna$), $n'n' < dn'$ ($z\dot{a}n'n'\dot{t}$), $ll < dl$ ($oll\dot{e}t\dot{i}$) в сх. области и в некоторых других славяноязычных областях [13]; установлено, что эта особенность характерна для некоторых говоров боснийских мусульман, из которых она проникает (хотя и редко) в сербские и хорватские говоры. В качестве диалектной черты эта особенность наиболее типична для иекавско-штакавского региона на востоке и юго-востоке Боснии, где она обобщена в говорах мусульман и распространилась (особенно в долинах крупных рек и вблизи городов) на говоры сербов. Для нас здесь существенно, что северо-западным боснийским говорам известны только редкие случаи появления геминации $dn > nn$ и неизвестны переходы $dn' > n'n'$, $dl > ll$. Это еще раз подтверждает, что центром распространения данного явления следует считать восточную, точнее — юго-восточную иекавскую часть боснийского диалектного комплекса (восточногерцеговинским говорам оно не присуще), и что чем дальше удаляемся мы от этого центра, тем меньше вероятность встретить данное явление в говорах мусульман. Мы надеемся, что дальнейшая обработка материалов, собранных по программе БГДА, подтвердит эти положения.

Помимо важного с точки зрения иекавской литературной нормы вопроса о качестве рефlekсов ятя в долгих слогах, здесь при обзоре собранных материалов можно отметить некоторые другие моменты, связанные с соотношением литературной нормы и ее диалектной (новоштокавской) базы. Соотношение диалектной основы и литературного языка — вопрос сложный и в практическом, и в теоретическом плане. В случае с сх. языком можно сказать, что новоштокавская основа литературного языка просто вынуждает нас использовать данные изучения диалектного комплекса (прежде всего новоштокавского) в качестве опоры для объяснения определенных фактов литературного языка и для оценки отдельных тенденций в развитии его структуры. Особо следует выделить вопрос об от-

существованию единообразия в акцентуации как отражении факта сосуществования акцентных дублетов в новоштокавском регионе. В связи с подобным соотношением между диалектными и литературным языком в упомянутой выше работе делается следующее заключение: «Именно в сфере акцентологии имеет место наибольшее расхождение между кодификацией и узусом (реальным состоянием) орфоэпической нормы литературного новоштокавского языка, так что по сути дела о кодификации вообще нельзя говорить. В свете этого становится ясным, что в нашем случае диалектологическое изучение материальных основ языкового стандарта имеет гораздо большее значение, чем для тех языков, для которых подобная задача сводится к выявлению «органического» фундамента литературного языка. Кроме того, у нас диалектная ситуация в новоштокавском регионе через региональные варианты разговорного языка до сих пор существенно влияет на орфоэпическую практику литературного языка, особенно в плане просодии. Необходимо иметь в виду, что новоштокавский литературный язык относительно молод, и поэтому в его нынешней языковой материи нет ощутимых отличий от его диалектной основы» [8, кн. II, с. 112—113]. Таким образом, данные акцентологии ставят перед нами не только диалектологические, но и орфоэпические проблемы. Факты новоштокавской диалектологии требуют изучения в двух аспектах — изучения «с целью лучшего ознакомления с лингвогеографической картиной с.-х. диасистемы... и с целью лучшего понимания некоторых явлений в практике функционирования литературного языка, точнее, в его узусальной норме» [8, кн. II, с. 113].

Во втором выпуске «Боснийско-герцеговинского диалектологического сборника», [8, кн. II] помимо дополнений к библиографии, опубликовано несколько других работ: Й. Баотич, «Акцентная система села Коштрач в боснийской Посавине» (с. 161—267), А. Пецо, Д. Брозевич, Д. Вуичич и Й. Баотич, «Список диалектных особенностей, охваченных Вопросником для обследования б.-г. говоров» (с. 271—310), Й. Баотич, «Перечень лексем, охваченных Вопросником для обследования б.-г. говоров» (с. 313—347), «Список пунктов по проекту боснийско-герцеговинского диалектного комплекса» (с. 365—370).

В третьем выпуске Сборника [8, кн. III] опубликованы вторая часть монографии А. Пецо «Икавско-шчакавские говоры Западной Боснии» (акцентология, морфология, тексты; с. 11—258), а также исследование Д. Вуичича «Ономастический материал Мехмед-бега Капетановича Любашака» (с. 261—305) и дополнения к библиографии по б.-г. говорам.

8. Полевые исследования по проекту БГДА дали огромный новый материал из пунктов, равномерно представляющих территорию региона, что позволило впервые описать многие явления, о которых до сих пор мы имели фрагментарные, а иногда и неточные представления. По многим участкам региона диалектологический материал оказался вообще собранным впервые. В этом — главное значение проекта БГДА в целом, фактографический аспект дела. Многие изоглоссы были впервые установлены и закартографированы. Укажем некоторые релевантные для б.-г. говоров особенности фонетики, изоглоссы которых удалось установить: а) тембр гласных, явления открытости и закрытости гласных; б) редукция безударных гласных; в) однослоговые и двуслоговые рефлексy ятя; г) екавская йотация; д) новая йотация; е) произношение пар аффрикат \check{c} , \acute{c} : $d\check{z}$, \acute{d} ; ж) рефлексy праславянских сочетаний tj , dj ; з) рефлексy праславянских сочетаний stj , zdj , skj , zgj ; и) произношение фонем h и f ; к) преобразование сочетаний dn , dn' , dl в геминаты; л) произношение палатальных смычных k и g в заимствованиях турецкого (арабского) происхождения и т.д. Данные о распределении рефлексов икавского и икавского типов потребуют, возможно, внесения поправок в диалектологические карты. Так же обстоит дело с синхронным состоянием рефлексов сочетаний $*tj$, $*dj$ и $*stj$, $*zdj$, $*skj$, $*zgj$, как и с установлением границ шчакавских диалектных «островков» в штакавском окружении, а также картографированием результатов екавской и новой йотаций в их лингвогеографическом соотношении с упомянутыми ранее фонетическими явлениями.

В отношении произношения пар аффрикаты фонемы *h* наблюдается дифференциация говоров Боснии по этноконфессиональному признаку. В говорах мусульманского населения обычно аффрикаты попарно не различаются, а фонема *h* сохранена, тогда как в сербских говорах различаются все четыре аффрикаты, а фонема *h* исчезает или заменяется на *v* или *j* (для хорватских говоров такое распределение не характерно). Наличие подобной дифференциации (проведенной впрочем не везде последовательно) исследователи склонны связывать с фактором межъязыковых контактов; фонетическая система турецкого (или арабского) языков, по их мнению, способствует стиранию различий между парами аффрикат и сохранению фонемы *h* в мусульманских говорах (см. [14]). Действительно, говоры мусульман обнаруживают единство не только в пределах Боснии и Герцеговины, последовательно сохраняя фонему *h*, и подобное их единство несомненно указывает на связь с восточным языковым элементом. Но что касается неразличения пар аффрикат, то в этом отношении мусульманские говоры никоим образом не обладают таким полным и последовательным единством, как в случае с фонемой *h* (ср. положение в иекавско-штакавской восточно-боснийской области, где, по данным моих исследований, северные мусульманские говоры имеют только одну пару аффрикат, а южные различают две пары). Таким образом, имеющиеся материалы свидетельствуют о влиянии восточных языков в случае с сохранением фонемы *h* в системе, но для явления неразличения пар аффрикат мы не можем принять такое влияние за достоверный факт, так как положение в мусульманских говорах не дает нам для этого оснований. С аналогичными иноязычными влияниями связывается и наличие геминат в словах типа *glánpa*, *zàp'n'î* в некоторых мусульманских говорах, а также смещенность в пользу односложных рефлексов *ятя* в долгих слогах в говорах городского населения Боснии (ср. положение в старом говоре Сараева, где представлены формы *sjêno*, *bjêlo* [14]), хотя в литературе последнего времени высказывалось мнение, что эти явления не обязательно ставить в связь с фактором контактов, тем более, что аналогичные явления наблюдаются и в других славянских, да и в неславянских языках — так обстоит дело с геминацией упомянутого типа (см. [13]). Материал БГДА будет весьма полезен для решения этого важного вопроса.

На материале БГДА можно будет также очертить синхронные границы многих просодических явлений, что позволит углубить представления об акцентных типах сх. диалектов, которые, как известно, по своему богатству в этом плане занимают уникальное место в славянском мире. Можно будет увидеть соотношение между говорами с системой четырех акцентов и говорами, в которых процесс новоштокавского переноса акцента еще не завершен (иекавско-штакавский ареал), сопоставить изопросодему неперезнесенного акцента с изоглоссами *шчакавизм*: *штакавизм*, *икавизм*: *иекавизм*, отсутствие : наличие *екавской* и новой *йотации* и т. д.

Появится много новых данных для освещения морфологических явлений. Это позволит конкретизировать сведения о распространении некоторых архаичных форм именного и местоименного склонений и о соотношении их с архаичными чертами в фонетико-фонологических и просодических системах говоров. Будут определены изоглоссы типа *Jovo* — *Jova*, *Mujo* — *Muja* в именном склонении (в противопоставлении типу *Jovo* — *Jove*, *Mujo* — *Muje*) и их географическое соотношение с изоглоссой различения и неразличения пар аффрикат. В области глагольного спряжения особый интерес представит изоглосса сохранения имперфекта и т. д.

Вопросы по синтаксису (которому ранее и в литературе о б.-г. говорах уделялось меньше всего внимания) покажут, насколько обоснована традиционная точка зрения о слабой диалектной дифференцированности синтаксического уровня языка. Возможно, впервые появятся данные о наличии дифференциации — пусть и слабо выраженной — в явлениях этого уровня.

Лексико-семантический материал явится особенно полезным вкладом в изучение б.-г. говоров, прежде всего в силу того, что никакой другой

языковой уровень в этой части с.-х. территории не обладает таким своеобразием, будучи, с другой стороны, до настоящего времени так мало изученным. Кроме общекарпатского ареального лексического слоя, на данной территории, которая на протяжении веков была местом соприкосновения различных культур и религий и за счет этого приобретала свой переходный (в самом широком культурно-историческом смысле) характер, присутствует много других лексико-семантических слоев. Этимологическая многослойность — наиболее характерная особенность б.-г. диалектной лексикой, а ее связь со следами различных — и субстратных, и ново-появившихся — культур является наиболее убедительным свидетельством влияния экстралингвистических факторов на развитие лексико-семантической системы языка. Отдельные изолексы и изосемы помогут проследить соотношение сфер культурного влияния и ареалов распространения слов; как известно, такое прослеживание лежит в основе романской и германской лингвогеографии. Нужно установить, какой силой воздействия на лексико-семантические системы этих говоров обладает фактор языковой интерференции, проверить, насколько точно слова и их значения отражают в своей динамике динамику развития коллектива, который на протяжении многих поколений пользуется соответствующим языком или диалектом.

9. Материал БГДА должен принести большую пользу в дальнейшем изучении некоторых вопросов исторической диалектологии сх. языка. Прежде всего, речь идет о соотношениях между определенными исторически важными изоглоссами в центральной части штокавского региона, возникшими в предмиграционный период (до XIV в.), об уточнении изоглоссы штакавизм : шчакавизм и изоглосс рефлексов, сочетаний *tj и *dj, об установлении ареала распространения метатонического акута. Важен и вопрос о первичном ареале распространения икавских рефлексов ятя в говорах Боснии (проблема состоит в том, была ли территория между Боснией и Дриной до крупных миграций икавской, или же иекавизм — ее исконная особенность). Не перестает быть предметом дискуссий в сх. диалектологии и отношение между чакавским диалектом и западными штокавскими говорами: верно ли, что до крупных миграций граница чакавского диалекта проходила намного западнее, чем сейчас, достигая Врбаса или даже Босны, или же чакавские говоры были отделены от восточных штокавских поясом переходных говоров, рассекавшим почти поровну б.-г. территорию? Как следует объяснить особенности западных штокавских говоров, которые часто относят к «чакавизмам» (например, формы *meja*, *gōdjāk*, метатонический акут и др.)? Действительно ли они являются чертами чакавского диалекта, которыми говорило прежнее население этой части Боснии до миграционных сдвигов? Или же это население исконно было чакавским, или говорило на диалекте, носившем переходный характер от чакавщины к штокавщине и обладавшим своей специфической комбинацией диалектных особенностей, что и создает сейчас впечатление «чакавизмов»? Материал БГДА предоставит синхронные факты, которые вместе с материалом СХДА окажутся чрезвычайно ценными при дальнейшем изучении исторических отношений между сх. диалектами.

10. Проект БГДА носит официальное название «Боснийско-герцеговинский диалектный комплекс — синхронное описание и соотношение с современным литературным языком», которое второй своей частью подчеркивает практическую и теоретическую важность этого проекта для исследования взаимоотношений книжного языка и его диалектной основы. Сх. литературный язык, как известно, базируется на новоштокавских говорах (относящихся к восточногерцеговинскому диалекту), но его развитие со времен реформы Караджича и иллирийского движения и вплоть до настоящего времени шло путями, обусловленными спецификой литературного языка как «неорганического» идиома, обособленного от диалекта, положенного в его основу. Помимо особых экстралингвистических обстоятельств, связанных с различиями в культурном наследии объединяемых им коллективов и с тем фактом, что он является общим литературным языком для четырех народов нашей страны (сербов, хорватов,

мусульман и черногорцев), специфическая проблема заключается во взаимоотношении литературного языка и его диалектной базы, точнее, в характере этой базы. Новоштокавские говоры содержат в своей системе немало черт, отличающихся нестабильностью. С этой их особенностью можно связать большую долю таких явлений в сх. литературном языке, которые оцениваются нами как неединообразные, вариативные и не обладающие достаточной степенью стабильности, необходимой для литературного языка как системы с широкой сферой коммуникативных функций. Варьирование проявляется прежде всего в лексической и акцентной системах. Лингвогеографическое исследование центральноштокавской зоны поможет уточнить параметры территориального расслоения материала, отразившегося и в литературном языке и его вариантах, выявить такие тенденции в развитии диалектной основы литературного языка, которые могут послужить полезными ориентирами при решении некоторых нормативных вопросов. Для ареала тех диалектов, которые еще мало отличаются от наддиалектной сх. литературной нормы, созданной на их основе, удастся установить конфигурацию и взаимное соотношение изоглосс акцентуационных дублетов и лексических вариантов, в той или иной степени известных и литературному языку.

11. Лингвистическая география как метод диалектологического исследования имеет свою почти столетнюю традицию (со времени работ Жильерона и Венкера). Романская и германская лингвистическая география много дали теоретической лингвистике и поставили немало вопросов, которые еще предстоит решать исследователям. Работа над лингвистическими атласами славянских языков, в особенности ОЛА, КДА и ОКДА формирует третью школу лингвистической географии — славянскую. Лингвогеографические исследования южнославянских языков, в данном случае — сх. и более узких диалектных регионов, с точки зрения их диалектного состава, создают условия для появления новых теоретико-методологических обобщений. В этом отношении и работа над БГДА может привести к постановке ряда до сих пор не рассматривавшихся вопросов, обусловленных спецификой б.-г. диалектного материала.

Выделим некоторые из этих общелингвогеографических проблем: а) территориальное членение б.-г. региона в средние века, а также сохранение некоторых политико-административных границ и торговых путей в период турецкого господства могли оставить следы в современной конфигурации некоторых изоглосс, особенно тех, которые отражают предмиграционное состояние; задача Атласа — проследить возможные связи такого рода на конкретном материале; б) в какой степени фактор географической изоляции независимо от административно-политических границ, влияет на дифференциацию изоглосс; в) установление изоглосс создаст картину их пространственных взаимоотношений; в какой мере они независимы друг от друга и в какой мере их конфигурация обусловлена соотношениями с другими изоглоссами системы, как они объединяются в пучки и как расходятся; г) в какой степени подобная картина соответствует современным представлениям о границах диалектов; какие поправки могут внести в него выявленные пучки изоглосс; д) с какой интенсивностью происходит иррадиация языковых особенностей из культурных центров и в какой степени этому противостоят разобщающие факторы административно-политического, религиозного и географического порядка; е) с какой интенсивностью навязывает диалектам свои особенности литературный язык; от каких факторов и явлений в структуре диалекта и литературного языка зависит темп проникновения книжных форм в диалекты; ж) в какой мере на возникновение и распространение изоглосс языковых явлений влияет фактор межъязыковых контактов.

БГДА ставит, кроме того, и некоторые специфические географические проблемы: а) как миграции населения изменили конфигурацию старых предмиграционных изоглосс и как соотносятся оазисы старых диалектных групп с новым, постемиграционным диалектным окружением; б) как ведут себя изоглоссы в районах непосредственного контакта говоров разных типов, возникшего в результате миграций; в) каково влияние локальных

центров меньшего масштаба (в данном случае говоры небольших б.-г. городов) на окружающие говоры и на конфигурацию изоглосс; г) в какой мере национальная неоднородность населения, пользующегося говорами определенного типа, влияет на дифференциацию изоглосс; д) как уклад жизни, связанный с горным пастушеством б.-г. типа, влияет на диалектные контакты: ослабляет или усиливает их.

Эти вопросы (а может быть, и некоторые другие, предвидеть которые пока не можем) должны встать при лингвогеографическом обследовании б.-г. говоров. Научные результаты этого проекта — и фактографические, и теоретические — пойдут на пользу и сх., и всему славянскому языкознанию. Мы надеемся, что они явятся значительным шагом вперед в изучении сх. диалектов и славянского диалектного комплекса в целом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bibliografija radova o bosansko-hercegovačkim govorima. Sa saradnicima pripremio Dragomir Vujičić.— BHDZ, knj. I, 1975, s. 267—339.
2. Čerić S., Arnaut M. Bibliografija radova o bosansko-hercegovačkim govorima (od 1975. do 1978).— BHDZ, knj. II, 1979, s. 351—363.
3. Hadžimejlić J. Bibliografija radova o bosansko-hercegovačkim govorima (od 1978. do 1981. god).— BHDZ, knj. III, 1982, s. 309—356.
4. Savjetovanje o terminologijama narodne materijalne i duhovne kulture. Sarajevo, 1977, 145 s.
5. Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom. Sarajevo, 1981, 828 s.
6. Proučavanje bosansko-hercegovačkih govora — dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive. Sarajevo, 1974, 128s.
7. Uprnik za ispitivanje bosansko-hercegovačkih govora/Institut za jezik i knjizevnost u Sarajevu. Sarajevo, 1976, 216 s.
8. Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, knj. I—III. Sarajevo, 1975, 1979, 1982.
9. Пецо А. Говор источне Херцеговине.— Српски дијалектолошки зборник, XIV. Београд, 1964.
10. Јахић Дž. А. Ијекавскоштакавски говори источне и југоистоčne Босне. Београд, 1981 (рукопис докторске дисертације).
11. Вуковић Ј. Говор Пиве и Дробњака.— Јужнословенски филолог, XVII. Београд, 1938—1939.
12. Петровић Д. О говору Змијава.— Зборник за филологију и лингвистику, XV/I. Нови Сад, 1972, с. 47.
13. Јахић Дž. А., Тошковић Вр. Дј. Redukcija i asimilaciona geminacija grupe *dn* u ijekavskošтакавским govorima istočne Bosne i u pskovskim srednjoruskim govorima (kontrastivna analiza).— Prilozi nastavi srpskohrvatskog jezika i književnosti, 13. Banja Luka, 1980, s. 77—94.
14. Вуковић Ј. Refleksi medjujezičkih dodira u fonetskim osobinama bosanskohercegovačkih govora.— Radovi Naučnog društva Bosne i Hercegovine, knj. XX. Odjeljenje istorijsko-filoloških nauka, knj. 7. Sarajevo, 1963, s. 161—162.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- БГДА — Боснийско-герцеговинский диалектологический атлас.
 КДА — Карпатский диалектологический атлас.
 ОКДА — Общкарпатский диалектологический атлас.
 ОЛА — Общеславянский лингвистический атлас.
 СХДА — Сербскохорватский диалектологический атлас.
 BHDZ — Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik. Sarajevo.



РОМАНКОВА Н. В.

ФОРМАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ АВТОРСКОГО СТИЛЯ КЛИМЕНТА ОХРИДСКОГО И ЖИТИЕ КОНСТАНТИНА-КИРИЛЛА

Атрибуция исторических, литературных и политических произведений средневекового периода — одна из наиболее сложных и неразработанных проблем источниковедения. До XVII в. произведения почти никогда не имели авторской подписи. В силу господства жанрового шаблона, а также многовековой традиции вторжения в текст произведений многочисленных переписчиков и редакторов, четко выраженный авторский текст — явление довольно редкое. Это ослабляет обоснованность многих существующих в историографии атрибуций. Однако несомненно то, что каждое средневековое произведение имеет в своей основе авторское начало.

В историографии существует значительное количество четких и уверенных атрибуций. Основными аргументами в пользу авторства того или иного лица служат, как правило, различного рода косвенные доказательства. При этом заметна тенденция приписывания анонимных произведений наиболее крупным и известным авторам. Поэтому проблема атрибуции остается актуальной и в настоящее время.

В современной историографии в поисках путей выявления объективных критериев авторского стиля произведений внимание все чаще обращается на количественные методы анализа текстов. Так как атрибуции большей частью основываются на субъективных особенностях, то в результате авторские признаки оказываются неуловимыми, ибо употребляемые индивидуальные обороты и лексика одного и того же лица могут резко изменяться в зависимости от жанра. Это обуславливает особую актуальность поиска объективных (подсознательных) элементов стиля. Поиски объективных особенностей авторского начала связаны с выделением статистических закономерностей в проявлении индивидуальных черт того или иного текста.

В настоящее время теории применения количественных методов в изучении языка посвящена обширная литература ([1—3] и др.). Но предлагаемая в ней методика действительна лишь по отношению к текстам нового времени. По отношению же к литературе средневекового периода она мало перспективна.

Новое решение проблемы атрибуций предложили исследователи кафедры источниковедения и историографии истории СССР Московского университета под руководством проф. Л. В. Милова [4]. Исследователи предложили проанализировать закономерности расположения частей речи в предложении, но не просто фиксировать их положение, а учитывать парное соседство (связи) грамматических классов справа от исходного объекта в направлении развертывания текста. Это является особенно важным, так как цель подобных работ состоит в поисках авторских особен-

ностей в порядке расположения частей речи в предложении, которые, как это показали работы вышеуказанной группы, могут быть выражены статистически. Несмотря на значительную долю привнесенных позднее в язык определенного произведения элементов, авторский стиль прослеживается достаточно четко, что находит свое отражение в статистических закономерностях расположения частей речи в предложении.

Этот метод выявления подсознательных элементов стиля в рамках простого предложения мы предлагаем использовать для решения проблемы атрибуции Пространного Жития Константина-Кирилла.

Пространное Житие Константина-Кирилла — один из старейших памятников старославянской литературы. Его история тесно связана с Пространным Житием Мефодия. Комплекс этих произведений известен под названием Паннонских легенд. Открытие (1843) и первое исследование памятника связано с именем А. В. Горского [5]. Первое издание осуществил П. Шафарик при содействии М. П. Погодина в 1851 г. [6]. Получив известность, Пространные Жития стали объектом тщательного изучения нескольких поколений славистов. В настоящее время памятникам посвящено огромное количество литературы.

Изучение Житий шло в нескольких направлениях: археографические исследования, выявление заимствований из литературных источников, установление достоверности Житий как исторических источников, изучение и анализ словаря памятников, время возникновения и авторство.

Создание Житий относится к начальному периоду формирования старославянского языка, написаны они в IX в.

Датировка была уточнена в результате сопоставления Житий и Итальянской легенды, представляющей собой рассказ о перенесении Константином и Мефодием мощей римского папы Климента из Херсонеса в Рим и является частью легенды о папе Клименте, написанной епископом Веллетри Гаудерихом и поднесенной в дар папе Иоанну VIII. Было убедительно доказано, что источником Итальянской легенды послужило Житие Константина. Это позволило уточнить и время составления памятника — ранее 882 г., когда умер папа Иоанн VIII. Эту дату предлагают отодвинуть к 880 г., когда Мефодий посетил Рим и мог перевести Гаудериху привезенный с собой текст Жития Константина-Кирилла. Таким образом, Житие Константина было написано между 869 г., когда умер Константин, и 880 г.

Исследователи полагают, что в Итальянской легенде отразилась более ранняя редакция, чем дошедшая до нас. Известный сейчас текст относится к тому времени, когда создавалось Житие Мефодия [7].

Оживленные дискуссии вызвал вопрос об авторстве Жития Константина. В тексте самого Жития сообщается о том, что сочинения Константина против иудеев «перевел учитель наш и архиепископ Мефодий» [8]. Следовательно, автором Жития Константина был ученик Мефодия. Как один из наиболее близких учеников Константина и Мефодия известен Климент Охридский. После смерти Мефодия он поселился в Болгарии и создал ряд произведений, вошедших в золотой фонд древнеболгарской литературы. Поэтому понятно стремление многих славистов приписывать Клименту Охридскому авторство Жития Константина. Первым это сделал В. М. Ундольский в письме к О. М. Бодянскому. В 1855 г. в пользу авторства Климента Охридского высказался и сам О. М. Бодянский. К этому мнению в 1886 г. присоединился Малишевский. Климента Охридского считали автором Жития Константина П. А. Лавров [9], В. Велчев [10], Б. Ст. Ангелов [11], Н. Драгова [12], К. Мечев [13] и др.

Выдвигается ряд соображений, свидетельствующих в пользу авторства Климента Охридского: 1) содержание двух Житий, очерченная в них широкая картина эпохи и апостольской деятельности Кирилла свидетельствуют, что они написаны современником и что современник этот — прямой ученик Константина-Кирилла и Мефодия; 2) наличие взаимодополняемости двух Житий; 3) оба Пространных Жития композиционно похожи; 4) имеет место языковая и стилистическая схожесть Житий, которая напоминает язык и стиль произведений Климента Охридского; 5) автор ис-

пользует документальные источники, сочинения своих учителей, личные наблюдения и воспоминания, описывает подробности их жизни и деятельности; 6) автор больше расположен к Византии и Царьградской патриархии, чем к Риму; 7) Климент — автор двух похвальных слов Кириллу и Мефодию, а известно, что в средневековых литературных произведениях была обычной практика написания авторами Житий и похвал соответствующим святым. Оба Похвальных слова, подобно Пространным Житиям, значительно различаются по объему; 8) пространные Жития послужили источниками для Похвальных слов Кириллу и Мефодию; 9) в кириллических списках Житий обнаруживаются глаголические первообразы [14].

В историографии существует группа ученых, которые считают Климента Охридского вероятным автором Жития. Н. С. Державин [15], Ив. Богданов [16], Хр. Кодов [17] и другие признают, что Климент Охридский мог создать это произведение, но подчеркивают, что это предположение еще окончательно не доказано.

В историографии указывалось и на возможность многоавторства Жития Константина. Сторонники этой гипотезы говорят о возможном сотрудничестве Мефодия и Климента Охридского при написании Жития [18, 19].

В научной литературе неоднократно высказывалось мнение о стилистической схожести между достоверными произведениями Климента Охридского и Житием Константина и приводились стилистические параллели. Но наряду с этим были выявлены некоторые несоответствия между Житием Константина и Похвалой Кириллу, приписываемой перу Климента. Отмечался и разный уровень литературного мастерства, с которым написаны Житие Константина и сочинения Климента Охридского.

Таким образом, вопрос об авторстве Жития Константина остается дискуссионным.

Учитывая трудности, связанные с решением проблемы авторства Жития Константина традиционными методами, предлагаем прибегнуть к использованию формально-количественного метода, а именно метода учета частот парных встречаемостей грамматических классов в рамках простого предложения.

Сопоставление Жития Константина проводится с достоверными произведениями Климента Охридского — Похвалой Кириллу Философу, Похвалой сорока святым мученикам, Похвалой Дмитрию Солунскому и Похвальным словом архангелам Михаилу и Гавриилу.

Суть метода заключается в анализе порядка расположения частей речи в рамках простого предложения. Критерий этот является объективным, так как построение предложения автором — действие подсознательное. Предлагается не просто учитывать следование одной части речи за другой, а фиксировать парные встречаемости грамматических классов в направлении развертывания текста.

Текст каждого произведения был очищен от цитирования и диалогов. В связи с этим из Жития Константина были взяты II, III, IV, VIII, XVII главы. В результате удаления цитат и диалогов из Похвального слова архангелам Михаилу и Гавриилу текст произведения сократился до 600 значимых (знаменательных) слов, что недостаточно для выявления авторских особенностей. Поэтому Похвальное слово архангелам Михаилу и Гавриилу было объединено с Похвалой Дмитрию Солунскому, также имеющей небольшой объем.

В работе используются специальные термины, поэтому представляется целесообразным пояснить их значение.

Графическое представление структуры текста называется г р а ф о м. Понятие п о р о г а связано с частотой совместной встречаемости определенной пары грамматических классов слов: порог n отделяет такие пары грамматических классов, которые не менее четырех раз встречаются на протяжении исследуемого текста. Понятие с в я з и включает в себя не только фиксацию парного соседства грамматических классов, но и направление этого соседства, так что для каждой пары классов можно установить две связи. Направление связи имеет большое значение, так как оно выявляет особенности в порядке расположения автором частей речи.

Грамматический класс, имеющий две и более связей, называется в е р ш и н о й г р а ф а. Вершина, имеющая четыре и более связей, называется у з л о м г р а ф а. Связи, узлы, вершины, присущие всем исследуемым произведениям, обозначаются как их о б щ е е я д р о.

А к т и в н о с т ь у з л а определяется количеством его связей и является понятием относительным, которым оперируют при сравнениях разных текстов.

Для кодировки использовалась система грамматических классов, в которой учитывались для существительных — число, падеж; для глаголов — время, лицо, инфинитив, супин, наклонение; для прилагательных — падеж, форма (краткая или полная); для причастий — залог, время, падеж, форма (краткая или полная); для местоимений — тип, падеж; для союзов — тип и т. д. Каждому грамматическому классу (всего их было выделено около 150) соответствует порядковый номер (код). Представленные в виде системы кодов тексты были переданы для построения матрицы частот парных встречаемостей на ЭВМ. Затем были построены графы сильных связей, анализ которых показал, что наиболее пригодные для исследования графы получаются при значении порога 7—10 для текстов в 1000 значимых (знаменательных) слов и 6—8 для текстов в 800 слов. Понижение порога для текстов меньшего объема связано с объективной необходимостью сравнения произведений различного размера. Исследование меньших по объему текстов при пороге 7—10 может привести к утрате определенного количества сильных связей, поэтому согласно требованиям математической статистики для текстов в 800 значимых слов порог снижен до 6—8.

Рассмотрим сначала структуру графов достоверных произведений Климента Охридского — Похвалы Кириллу Философу, Похвалы сорока святым мученикам и Похвалы Дмитрию Солунскому и Похвального слова архангелам Михаилу и Гавриилу (рис. 1, 2, 3).

По основным узлам 135 (сочинительно-соединительный союз), 24 (существительное единственного числа родительного падежа), 28 (существительное единственного числа винительного падежа), 147 (предлог первообразный), 17 (частица) и по общей структуре графы этих произведений близки. Большой активностью в Похвале Кириллу Философу отличается узел 20 (существительное единственного числа именительного падежа), меньшей активностью — узел 28 (существительное единственного числа винительного падежа).

Объединенный текст Похвалы Дмитрию Солунскому и Похвального слова архангелам Михаилу и Гавриилу отличается от Похвалы Кириллу Философу активностью узлов 6 (глагол в аористе 3-го лица), 20 (существительное единственного числа именительного падежа) и 28 (существительное единственного числа винительного падежа). При этом в объединенном тексте нет узла 29 (существительное множественного числа винительного падежа), но есть узел 21 (существительное множественного числа именительного падежа).

От Похвалы сорока святым мученикам объединенный текст отличается активностью узлов 17 (частица) и 6 (глагол в аористе 3-го лица). Узел 20 (существительное единственного числа именительного падежа), а также узел 91 (притяжательное местоимение винительного падежа), представленный в зачаточном виде в объединенном тексте, в Похвале сорока святым мученикам отсутствуют.

От Похвалы Кириллу Философу Похвала сорока святым мученикам отличается отсутствием узлов 91 (притяжательное местоимение винительного падежа) и 20 (существительное единственного числа именительного падежа).

Структура графов анализируемых произведений очень схожа. Большое количество связей сконцентрировано в правой части графов. Интересно, что при совмещении графов объединенного текста и Похвалы сорока святым мученикам мы получаем граф очень близкий к графу Похвалы Кириллу Философу. На наш взгляд, этот факт отражает историю создания этих произведений. Похвала Кириллу Философу — одно из первых сочинений Климента Охридского. Язык Похвалы Кириллу насыщен разно-

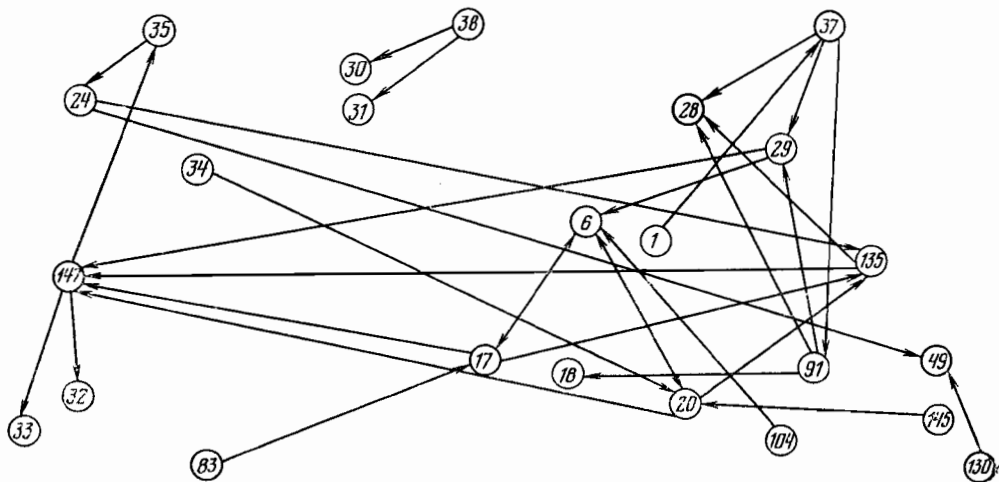


Рис. 1. Похвала Кириллу Философу.

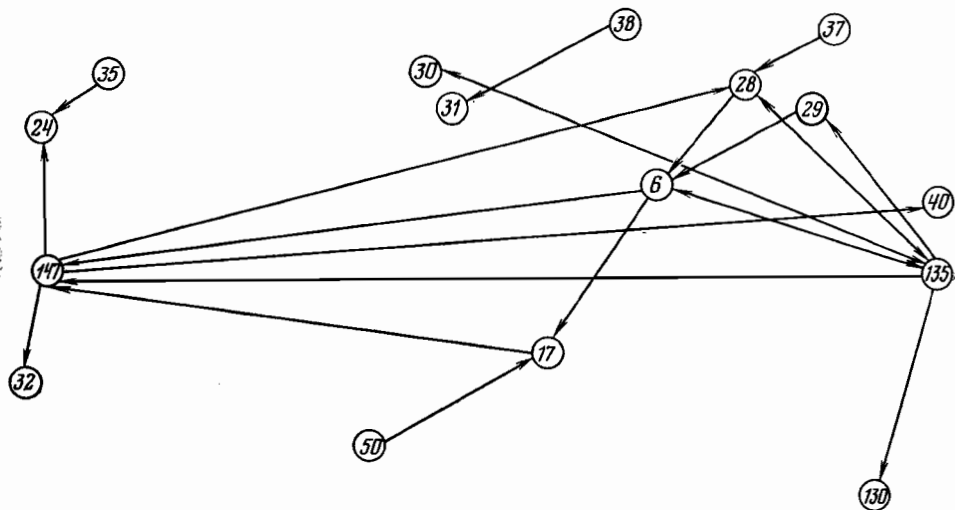


Рис. 2. Похвала сорока святым мученикам.

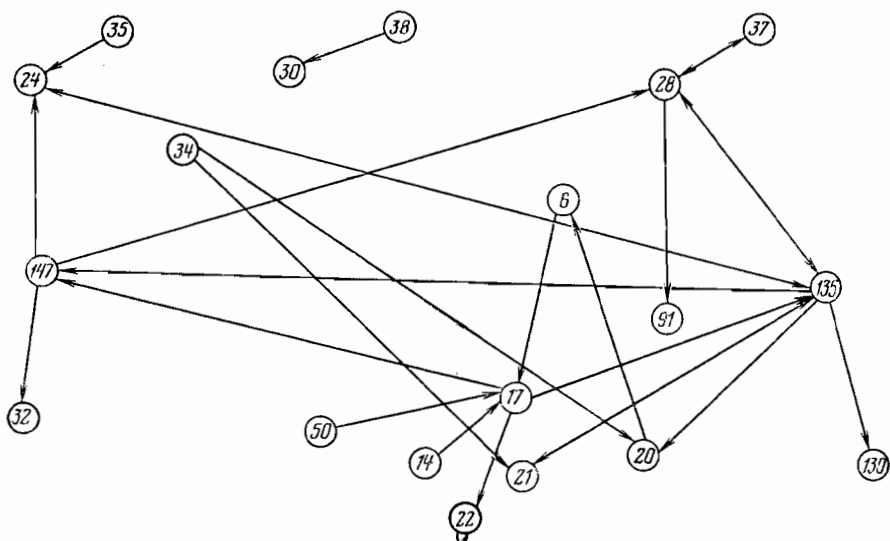


Рис. 3. Похвала Дмитрию Солунскому и Похвальное слово архангелам Михаилу и Гавриилу.

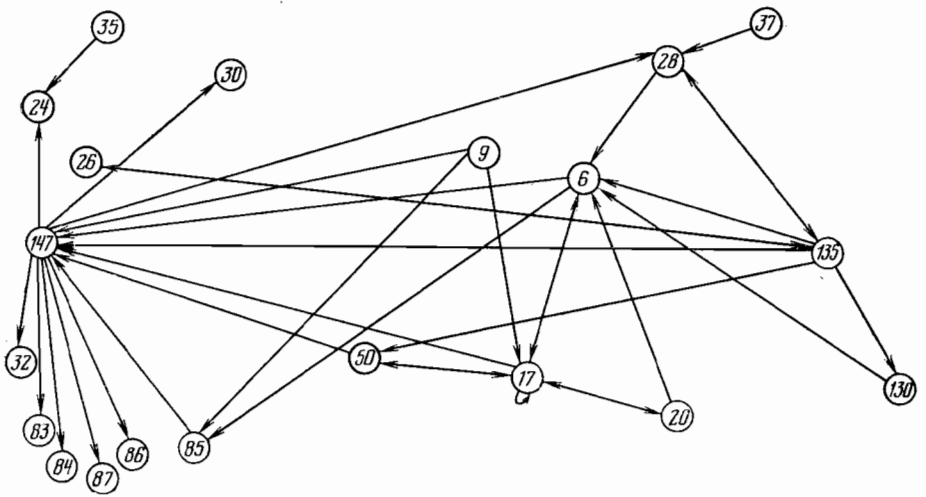


Рис. 4. Пространное Житие Константина.

го рода устойчивыми выражениями, чему соответствует большое количество связей в графе. Два других произведения написаны позднее. В них автор прибегает к более разнообразным методам изложения своих мыслей.

Исследование одножанровых произведений Климента Охридского показывает, что они имеют устойчивую структуру. Однако общность жанра не сковывает пера Климента Охридского. Разнообразие авторских приемов в изложении сказывается как в наборе связей, так и в их концентрации по узлам.

При изучении Жития Константина стало традиционным сравнение его с Похвалой Кириллу Философу, хотя в результате сравнения этих произведений исследователи приходят к различным заключениям об авторе Жития Константина. Мы также провели сравнительный анализ Жития Константина и Похвалы Кириллу Философу по изложенной методике.

Графы Жития Константина и Похвалы Кириллу Философу представлены на рис. 1 и 4. Сравнение их выявляет сильное расхождение. В Житии Константина значительно более активны узлы 147 (первообразный предлог), 135 (союз сочинительно-соединительный), 17 (частица), 28 (существительное единственного числа винительного падежа), в два и более раз менее активны узлы 35 (прилагательное родительного падежа), 37 (прилагательное винительного падежа) и 20 (существительное единственного числа именительного падежа).

Узлы 9 (глагол в имперфекте 3-го лица), 26 (существительное единственного числа дательного падежа), 50 (краткое причастие прошедшего времени) и 85 (указательное местоимение дательного падежа) отмечены только в графе Жития Константина. Узлы 29 (существительное множественного числа винительного падежа), 38 (прилагательное творительного падежа), 49 (краткое причастие настоящего времени) и 91 (притяжательное местоимение винительного падежа) зафиксированы только в Похвале Кириллу Философу.

При сравнении Жития Константина с Похвалой Кириллу Философу выявлено различие активности семи узлов и отмечено наличие четырех узлов, характерных только для Жития Константина и четырех — только для Похвалы Кириллу Философу. При этом основная масса связей в графе Похвалы Кириллу Философу стянута вправо, а в графе Жития Константина — влево.

Такое резкое различие может быть связано или с тем, что эти произведения принадлежат разным жанрам, или с тем, что они созданы разными авторами. О том, что эти различия вызваны не жанровыми особенностями, свидетельствует сравнение графов Жития Константина с графами Житий Сергия Радонежского, Кирилла Белозерского, Феодосия Печерского и Сказания о князьях Борисе и Глебе [20].

Подтверждением нашего мнения о том, что эти различия связаны именно с разным авторством, служат и выводы болгарского исследователя В. П. Васильева. Методом глотометрического анализа автор выявил значительное сходство Жития Мефодия, Похвалы Кириллу Философу и Похвального слова архангелам Михаилу и Гавриилу [21, с. 237—238]. Это сходство свидетельствует о том, что несмотря на жанровый шаблон, стиль автора прослеживается и в сочинениях разного жанра. В результате же сравнения Жития Константина и Похвалы Кириллу Философу В. П. Васильев пришел к выводу, что они созданы разными авторами [21, с. 235].

Таким образом, Житие Константина не может быть включено в число произведений Климента Охридского. Кто же создал это Житие? Возможно, правы те исследователи, которые предполагают совместное участие Мефодия и Климента в написании Жития. Но и это предположение не выходит за рамки гипотезы. Вместе с тем изучение достоверных произведений Климента Охридского позволяет выявить формальные признаки авторского стиля писателя, поэтому работа в этом направлении должна быть продолжена на материале других сочинений Климента Охридского.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Калинин В. М.* О статистике литературного текста.— Вопросы языкознания, 1964, № 1.
2. *Лескис Т. А.* О зависимости между размером предложения и его структурой в разных видах текста.— Вопросы языкознания, 1964, № 3.
3. *Шайкевич А. Я.* Опыт статистического выделения функциональных стилей.— Вопросы языкознания, 1968, № 1.
4. *Бородкин Л. И., Милов Л. В., Морозова Л. Е.* К вопросу о формальном анализе авторских особенностей стиля в произведениях древней Руси.— В кн.: Математические методы в историко-экономических и историко-культурных исследованиях. М., 1977.
5. *Горский А. В.* О св. Кирилле и Мефодии.— Москвитянин, 1843, № 6, ч. III.
6. *Ramátky dĕvního písmenictví jihoslovanů.* Praha, 1851.
7. Сказание о начале славянской письменности. М., 1981, с. 11.
8. Климент Охридский. Събрани съчинения. Т. III. София, 1973, с. 101.
9. *Лауров П. А.* Климент, епископ словенский. Труд В. М. Ундольского. М., 1895, с. VII.
10. *Велчев В.* Константин-Кирил и Методий в старобългарската книжнина.— В кн.: Първо българско царство. София, 1939, с. 11, 24.
11. *Ангелов Б. Ст.* Старобългарски писатели. Очерци. София, 1981, с. 52.
12. *Драгова Н.* Климент Охридски. Разказ за него и за враговете му. По случай 1050 години от смъртта на Климент Охридски. София, 1966, с. 48.
13. *Мечев К.* Жребий на българите. Делото на Константин-Кирил-Философ. София, 1981, с. 11.
14. *Ангелов Б. Ст.* Кирил и Методий славянски и български просветители. София, 1977.
15. *Державин Н. С.* К вопросу о литературной деятельности Климента Велчского.— Македонски преглед, кн. 3, 1929, с. 40.
16. *Богданов Ив.* Тринадесет века българска литература. Събития, автори, произведения, библиография. София, 1983, ч. 1, с. 84.
17. *Кодов Хр.* Около Житието на Кирил Философ.— Старобългарска литература. Изследвания и материали. Кн. 1. София, 1971, с. 53.
18. *Георгиев Е.* Разцветът на българската литература в IX—X в., София, 1962, с. 127—128.
19. *Дуйчев Ив.* Към тълкуването на Пространните жития на Кирил и Методий.— В кн.: Хиляда и сто години славянска писменост. 863—1963. София, 1963, с. 102—103, 117.
20. *Бородкин Л. И., Милов Л. В.* Некоторые аспекты применения количественных методов и ЭВМ в изучении нарративных источников.— В кн.: Количественные методы в советской и американской историографии. М., 1983, с. 374, 376—378.
21. *Васильев В. П.* Климент Охридски и авторството на «Пановските легенди».— Български език. София, 1969, кн. 3, с. 237—238.

Список кодов

(включает только коды узлов, фигурирующих в графах на рис. 1—4)

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. глагол, наст. вр., 1 л. | 9. глагол, имперф., 3 л. |
| 6. » аорист, 3 л. | 14. » повел. накл. |

17. частица
18. сущ., дв. ч.
20. » ед. ч., им. п.
21. » мн. ч., »
22. » ед. ч., зват. п.
24. » » род. п.
26. » » дат. п.
28. » » вин. п.
29. » мн. ч., »
30. » ед. ч., твор. п.
31. » мн. ч., »
32. » ед. ч., местн. п.
33. » мн. ч., »
34. прилаг. качеств., им. п.
35. » » род. п.
37. » » вин. п.

38. прилаг. качеств., твор. п.
40. » краткое
49. прич. краткое наст. вр.
50. » » прош. вр.
83. мест. указат., род. п.
83. мест. указат., род. п.
84. » » дат. п.
85. » » вин. п.
86. » » твор. п.
87. » » местн. п.
91. » притяж., вин. п.
104. » вопр., твор. п.
130. наречие
135. союз сочинит.
145. » сравнит.
147. предлог первообразный



К МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИХ ТЕКСТОВ

В статье «Ареальная типология славянских текстов XV—XVI веков» [1], построенной на материале двух монографий об именном склонении в славянских языках XI—XVI вв. [2; 3] были отмечены основные выводы этих монографий и выделен ряд вопросов, нуждающихся в разъяснении, уточнении и доработке. Среди таких лишь намеченных, но не решенных в этих книгах вопросов — проблема поиска единых статистических критериев для типологической характеристики древнеславянских текстов.

Выбор единого непротиворечивого, универсального критерия для типологического сравнения текстов — всегда довольно сложная задача. Одни критерии оказываются слишком текстуальными, другие, напротив, чересчур оторванными от реальных текстов и потому непригодными для выявления их специфики (впрочем, здесь не ставится цель детального обсуждения разных принципов и подходов в изучении типологии языков и текстов).

Показатели по некоторым категориям, как, например, падеж, зависят от категорий рода, числа, от жанра. Нелегко выбрать один сильный эталонный тип падежа, нейтральный по отношению к теме и жанру, в качестве критерия для сравнения на одной шкале.

Категория рода, в свою очередь, будучи тесно связана со словом, с лексикой, как типологический критерий требует довольно больших выборок; многие типы основ (на **ŭ*, **ŭ̄*, муж. р. на **i*, муж. р. на **a*, основы на согласные) нерегулярны в текстах, в целом низкочастотны.

Один из важных критериев типологического сопоставления славянских памятников письменности на статистической основе — степень насыщенности текста флексиями. Показатель такой насыщенности — общая суммарная накопленная частота всех флексий, встретившихся в выборке из памятника. Не касаясь сейчас вопросов собственно лингвостатистических, отметим только, что именно этот критерий, охватывая все флексии, отличается простотой, обобщенностью и имеет серьезное филологическое значение, позволяя произвести группировку различных текстов на единой основе.

Таким образом, содержательно степень насыщенности текста флексиями представляет собой один из ряда признаков среди других категориальных критериев морфологической типологии текстов — таких, как род, падеж, число, тип основ склонения, спряжение, глагольное время, наклонение, класс глагола, структурный тип слов и др.

Нами проведено сравнение славянских текстов и памятников XI—XVI вв. по степени их насыщенности флексиями. Использовано около 100 источников, краткую характеристику которых отражает следующий перечень:

А. XI в.

Конфессиональные тексты: Болгария (Зографское ев., Мариинское ев., Саввина кн., Синайская пс.), Русь (Остромирово ев., Чудовская пс., Новгородские минеи).

Конфессионально-повествовательные тексты: Русь (Изборник 1073 г., Изборник 1076 г., Синайский пат.).

В. XII в.

Конфессиональные тексты: Болгария (Охридский ап., Слещенский ап., Григоровичев пар., Погодинская пс.), Сербия (Мирославово ев.), Русь (Галицкое ев.).

Конфессионально-повествовательные тексты: Русь (Житие Феодосия Печерского, Сказание о Борисе и Глебе, Слова Иоанна Златоуста).

Канонические тексты: Русь (Ефрем. кормчая).

В. XIII в.

Конфессиональные тексты: Болгария (Добрейшево ев., Болонская пс.), Сербия (Вуканово ев.), Русь (Симоновская пс., Толковый ап.).

Конфессионально-повествовательные тексты: Русь (Житие Нифонта, Житие Саввы).

Канонические тексты: Русь (Новгородская кормчая).

Летописно-хроникальные тексты: Русь (I Новгородская лет.).

Г. XIV в.

Конфессиональные тексты: Болгария (Софийская пс.), Сербия (Бухарестская пс., Шипатованкий ап.), Русь (Чудовский НЗ).

Конфессионально-повествовательные тексты: Болгария (Евфимий Тырновский), Русь (Заветы 12 патриархов).

Канонические тексты: Болгария (Синодик царя Борила), Сербия (Синодик XIV в.), Русь (Мерило праведное).

Летописно-хроникальные тексты: Болгария (Манасиева хр.), Русь (Повесть врем. лет, Суздальская лет., II Псковская лет., I Новгородская лет.).

Д. XV в.

Деловые тексты: Северная Двина, Москва, Псков, Юго-Западная Русь, Западная Русь, Чехия, Валахия, Сербия, Хорватия, Босния, Дубровник.

Летописно-хроникальные тексты: Москва, Псков, Западная Русь.

Повествовательные тексты: Москва (Задонщина), Новгород, Чехия (Троянская ист.), Сербия.

Конфессионально-повествовательные тексты: Чехия (Ян Гус), Москва (Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет, Иосиф Волоцкий), Польша, Болгария (Владислав Граматик, Димитр Кантакузин, Константин Костенечский), Валахия.

Е. XVI в.

Деловые тексты: Москва (грамоты, Домострой, Судебник 1589 г.), Тверь, Рязань, Брест, Вильно, Юго-Западная Русь, Польша, Чехия, Хорватия, Хорватия (Полицкий статут).

Летописно-хроникальные тексты: Москва, Псков.

Повествовательные тексты: Москва, Псков (Повесть о Батории), Острог (Василий), Юго-Западная Русь (Иван Вишенский), Польша, Польша (Петр Скарга), Чехия.

Конфессионально-повествовательные тексты: Москва (Четьи-Минеи Макария), Западная Русь (ев. Тяпинского, Пересопницкое ев.), Польша, Валахия, Болгария (Матей Граматик), Словения (Примус Трубер).

Тексты хождений: Русь¹.

Объем выборки составлял 12 000 словоупотреблений по каждому источнику.

Приведем список славянских текстов и памятников XI—XVI вв. по степени их насыщенности флексиями. В первой колонке списка представлена абсолютная накопленная частота всех флексий в тексте, во второй — относительная накопленная частота к выборке в 12 000 словоупотреблений, в третьей — место создания текстов, в четвертой — их датировка (век), в пятой — тип текста, а в скобках, в ряде случаев, конкретные памятники и авторы.

¹ О принципах выделения частот [и типов текстов см. [2; 3]. Там же содержатся исчерпывающие сведения об источниках и использованных публикациях.

1	2	3	4	5
5132	0,42	Тверь	16	дел.
4998	0,41	Москва	16	дел. (грамоты)
4764	0,39	Валахия	15	дел.
4487	0,37	Хорватия	16	дел.
4336	0,36	Псков	15	лет.-хрон.
4216	0,35	Русь	14	лет.-хрон.
4160	0,34	Москва	16	лет.-хрон.
4144	0,34	Москва	15	лет.-хрон.
3981	0,33	Псков	16	лет.-хрон.
3386	0,33	Брест	16	дел.
3829	0,31	Русь	13	лет.-хрон.
3774	0,31	Юго-Зап. Русь	16	дел.
3687	0,30	Рязань	16	дел.
3614	0,30	Хорватия	15	дел.
3477	0,28	Русь	14	лет.-хрон.
3416	0,28	Москва	16	дел. (Судебник)
3413	0,28	Валахия	16	конф.-пов.
3393	0,28	Вильно	16	дел.
3326	0,27	Москва	16	конф.-пов.
3200	0,26	Сербия	15	пов.
3206	0,26	Болгария	14	канон.
3197	0,26	Босния	15	дел.
3151	0,26	Русь	13	конф.-пов. (Житие Саввы)
3190	0,26	Болгария	16	конф.-пов.
3141	0,26	Псков	16	пов.
3090	0,25	Русь	14	конф.-пов.
3059	0,25	Словения	16	конф.-пов.
3039	0,25	Болгария	15	конф.-пов. (Владислав Граматик)
2971	0,24	Москва	16	пов.
2960	0,24	Москва	15	пов.
2947	0,24	Русь	14	канон.
2947	0,24	Сербия	15	дел.
2912	0,24	Русь	16	хожд.
2907	0,24	Москва	16	пов.
2873	0,23	Острог	16	пов.
2855	0,23	Русь	11	конф. (Новгородские Минеи)
2847	0,23	Москва	15	конф.-пов. (Иосиф Волоцкий)
2830	0,23	Москва	16	дел. (Домострой)
2814	0,23	Русь	13	конф. (Симоновская пс.)
2786	0,23	Зап. Русь	16	конф.-пов. (Пересопницкое ев.)
2721	0,22	Русь	14	конф.
2649	0,22	Чехия	16	пов.
2610	0,21	Сербия	14	конф. (Шишатоввацкий ап.)
2605	0,21	Чехия	15	конф.-пов.
2558	0,21	Русь	12	канон.
2549	0,21	Чехия	15	пов.
2513	0,20	Дубровник	15	дел.
2474	0,20	Болгария	15	конф.-пов. (Константин Костенецкий)
2447	0,20	Юго-Зап. Русь	16	пов.
2428	0,20	Русь	13	конф.-пов. (Житие Нифонта)
2421	0,20	Чехия	15	дел.
2418	0,20	Русь	12	конф.-пов. (Слова Иоанна Златоуста)
2395	0,19	Русь	13	конф. (Толковый ап.)
2381	0,19	Сев. Двина	15	дел.
2362	0,19	Русь	12	конф.-пов. (Сказание о Борисе и Глебе)
2350	0,19	Болгария	13	конф. (Добрейшево ев.)
2326	0,19	Сербия	12	конф.
2324	0,19	Зап. Русь	15	лет.-хрон.
2319	0,19	Чехия	16	дел.
2315	0,19	Сербия	14	канон.
2314	0,19	Зап. Русь	16	конф. (ев. Тяштинского)
2293	0,19	Русь	12	конф.
2268	0,18	Русь	12	конф.-пов. (Житие Феодосия Печерского)
2229	0,18	Русь	13	канон.
2226	0,18	Русь	11	конф.-пов. (Изборник 1073 г.)
2216	0,18	Москва	15	конф.-пов. (Пахомий Логофет)
2203	0,18	Русь	11	конф.-пов. (Изборник 1076 г.)
2196	0,18	Валахия	15	конф.-пов.
2186	0,18	Москва	15	конф.-пов. (Епифаний Премудрый)
2181	0,18	Болгария	14	лет.-хрон.
2159	0,17	Польша	15	конф.-пов.
2031	0,16	Москва	15	дел.
2025	0,16	Русь	11	конф. (Остромирово ев.)
1951	0,16	Новгород	15	пов.

1947	0, 16	Польша	16	пов.
1904	0, 15	Болгария	14	конф.-пов.
1899	0, 15	Болгария	12	конф.
1846	0, 15	Болгария	13	конф. (Болонская пс.)
1825	0, 15	Болгария	15	конф.-пов. (Димитр Кантакузин)
1824	0, 15	Болгария	12	конф. (Погодинская пс.)
1807	0, 15	Сербия	14	конф. (Бухарестская пс.)
1804	0, 15	Болгария	11	конф. (Синайская пс.)
1795	0, 14	Болгария	14	конф.
1748	0, 14	Псков	15	дел.
1738	0, 14	Сербия	13	конф.
1721	0, 14	Польша	16	конф.-пов.
1635	0, 13	Польша	16	пов. (Петр Скарга)
1607	0, 13	Болгария	11	конф. (Саввина кн.)
1600	0, 13	Польша	16	дел.
1594	0, 13	Хорватия	16	дел. (Полцицкий статут)
1583	0, 13	Русь	11	конф. (Чудовская пс.)
1525	0, 12	Болгария	12	конф. (Слепченский ап.)
1449	0, 12	Зап. Русь	15	дел.
1439	0, 11	Болгария	12	конф. (Григоровичев пар.)
1427	0, 11	Болгария	11	конф. (Зографское ев.)
1405	0, 11	Юго-Зап. Русь	15	дел.
1339	0, 11	Болгария	11	конф. (Маринское ев.)
1274	0, 10	Русь	11	конф.-пов. (Синайский пат.)

Уже сам по себе этот список, в особенности по показателям относительных частот, наглядно отражает взаимоотношение отдельных типов текстов между собой и имеет самостоятельное значение.

В списке выделяется ряд зон.

Во-первых, четко выделяется зона в интервале частот (5132—3393) — зона деловых, летописных и хроникальных текстов разных ареалов. Во-вторых, зона (3393—2031) — зона повествовательных и конфессионально-повествовательных текстов разных веков и ареалов. Здесь концентрируются прежде всего повести, жития и близкие к ним тексты хождений. Нахождение здесь Домостроя свидетельствует как раз о том, что в определенных отношениях этот памятник ближе к текстам повествовательным. В конце этой зоны обнаруживаем довольно широкое переходное звено (2350—2031) к текстам собственно конфессиональным. Так, здесь встречаем уже и ряд евангелий (Добрейшево, Мирославово, Галицкое, Тяпинского). Здесь же, во второй зоне, отдельно по ареальному и хронологическому признакам выделяется самостоятельная микрizona II—1 южнославянских и чешских деловых текстов XV в. (Босния, Сербия, Дубровник, Чехия). В этой связи наличие в конце первой зоны хорватских деловых текстов XV в. представляет скорее переход к микроне II—1. В-третьих, зона в интервале частот (2025—1274). Эта зона внутренне делится на ряд микрзон: а) микрizona III—1 южно- и восточнославянских собственно конфессиональных текстов XI—XIV вв. (Болгария, Сербия, Русь); б) микрizona III—2 западнославянских повествовательных и конфессионально-повествовательных сочинений XV—XVI вв.; в) микрizona III—3 русских и западнорусских деловых документов XV в.

Своеобразие третьей зоны в целом в том, что она вобрала в себя тексты разных эпох, школ и жанров. В то же время нетрудно заметить, что при внешнем формальном совпадении в одной зоне все эти микрзоны содержательно отражают и разные эпохи, и разные ареалы и жанры. Все приведенные данные вновь свидетельствуют о том, что определяющим параметром при характеристике языка памятника древнеславянской письменности является не наличие/отсутствие флексий, не хронология, а именно жанр, тип текста. Славянские тексты XI—XVI вв. прежде всего различались по языку жанра, традиций школы. В этой связи следует лишний раз подчеркнуть точность традиционных интуитивных терминов «язык деловых памятников», «язык повести», «язык конфессиональных текстов» и т. п.

Итак, избранный морфолого-статистический критерий позволяет выделить следующие общие и частные типы древнеславянских текстов:

Общие типы: 1) тип деловых и летописно-хроникальных текстов; 2) тип повествовательных и конфессионально-повествовательных текстов.

Частные типы. Среди текстов первого типа выделяются: а) тип южнославянских и чешских деловых текстов XV в.; б) тип русск их и западно-русских деловых текстов XV в. Среди текстов второго типа отметим: а) тип южно-восточнославянских собственно конфессиональных текстов XI—XIV вв.; б) тип западнославянских повествовательных и конфессионально-повествовательных текстов XV—XVI вв.

Второй общий тип в лингвистическом отношении, по-видимому, является собой церковнославянский язык как таковой, представленный как восточно- и южнославянскими памятниками, так и источниками западнославянскими². Тогда для эпохи славянского средневековья выделяются два основных типа языка — летописно-деловой и церковнославянский. Эти два типа по-разному репрезентируются в реальных славянских текстах разных эпох и ареалов (ср., например, с одной стороны — тип южнославянских и чешских деловых текстов XV в., а с другой — тип западнославянских конфессионально-повествовательных текстов XV—XVI вв., южно- и восточнославянский тип конфессиональных текстов XI—XIV вв.). Между отдельными типами, зонами нетрудно заметить отсутствие жестких границ, наличие переходных участков, памятников, но в каждой зоне четко выделяется ее ядро. В связи с этим небезынтересно поставить вопрос и о выделении эталонного, среднего по показателю относительной накопленной частоты текста для каждой зоны. Для первой зоны — деловые и летописно-хроникальные тексты — эталоном являются московские летописные тексты XV—XVI вв. (интервал 0,35—0,34), для второй зоны — повествовательные и конфессионально-повествовательные тексты — эталон типичного текста лежит в интервале 0,26—0,23, для микрзоны II—1 — южнославянские и чешские деловые тексты — эталон находится в интервале 0,19—0,18. Наконец, в третьей зоне эталон типичного текста для микрзоны III—1 — южновосточнославянские конфессиональные тексты — лежит в интервале 0,15—0,11, для микрзоны III—2 — западнославянские повествовательные и конфессионально-повествовательные тексты — в интервале 0,16—0,14, для микрзоны III—3 — русские и западнорусские деловые тексты — в интервале 0,14—0,11.

Практическое значение выделения типичного эталонного текста заключается в возможности отнесения любого нового текста к тому или иному типу в зависимости от близости к эталону. Так, например, если перед нами некий текст, близкий к интервалу 0,15—0,11, то он должен быть отнесен к типу южно- и восточнославянских конфессиональных текстов, а текст XV в., близкий к интервалу 0,16—0,14, — к типу западнославянских повествовательных и конфессионально-повествовательных произведений.

Приведенные выше данные, отнюдь не отменяя других возможных подходов к типологии древнеславянских текстов, лишней раз показывают, что содержательная интерпретация статистических данных имеет серьезное общепилологическое значение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Герд А. С. Ареальная типология славянских текстов XV—XVI вв. — Советское славяноведение, 1982, № 5, с. 74—82.
2. Герд А. С., Капорулина Л. В., Колесов В. В., Рускова М. П., Черепанова О. А. Именное склонение в славянских языках XI—XIV вв. Л., 1974.
3. Герд А. С., Капорулина Л. В., Колесов В. В., Рускова М. П., Черепанова О. А. Именное склонение в славянских языках XV—XVI вв. Л., 1977.

² Ср. аналогичный вывод, сделанный по данным сильных типов именного склонения и состоящий в том, что все конфессиональные и конфессионально-повествовательные тексты представляют один единый тип языка [1, с. 79].



ПРОИЗВЕДЕНИЯ М. К. САРБЕВСКОГО В РОССИИ

Новолатинская поэзия стала известна в России во второй половине XVII в., когда в Москве появились выученики Киево-Могилянской коллегии, в которой основы науки поэзии постигались, в частности, на одах и элегиях Д. Буханана, Г. Гуго, Д. Оуэна, М. К. Сарбевского и др.

Самым известным новолатинским автором в Киево-Могилянской коллегии (а затем академии) был польский поэт Мацей Казимеж Сарбевский (1595—1640), оды которого еще при жизни стяжали ему европейскую славу «сарматского Горация», а издавались они в общей сложности более 70 раз (титульный лист самого авторитетного издания, антверпенского 1632 г., выполнен по рисунку Рубенса). В «Киево-Могилянских Афинах» Сарбевский стал известен довольно поздно, лишь в 1680 годах, зато сразу и надолго занял первенствующее место среди образцовых авторов [1]. Не удивительно поэтому, что первые известные нам упоминания о Сарбевском принадлежат выходцам из Киева. Самое раннее находится в «Епистоляре» Дмитрия Ростовского: в его письме 1707 г. ¹ цитируются Ювенал, Авзоний, Вергилий, Марциал, а против слов «но часто и хорошая надежда нас обманывает: безводны иногда бывают сии камни» на поле помечено «Сарбиевий» [2]. Читателем Сарбевского был и другой выходец из Киева, блестящий поэт-латинист Стефан Яворский, в описи библиотеки которого значится книга «M. C. Sarbievij Lyricorum libri IV» [3]. Вероятно, из Киева же привез в Псков издание Сарбевского архиепископ Симон Тодорский (1700—1754) [4, т. 34, с. 682].

Данные каталога личной библиотеки, к тому же подкрепленные свидетельством современника, особенно показательны для Феофана Прокоповича. Из его теоретического наследия известно, что он хорошо знал польскую и польско-латинскую поэзию [5], однако относился к ней сдержанно, а имя Сарбевского ни разу не встречается ни в «Поэтике», ни в поэтических переводах Феофана. Между тем в его библиотеке была книга «Маттиє Казамири епиграмма лирикорум» [6], а биограф Феофана Т.-Г. З. Байер (1694—1738) отмечал, что еще во время обучения в Риме он высоко ставил оды Сарбевского. Более того, Сарбевский оказался единственным новолатинским поэтом, которого Феофан смог поставить рядом с Горацием и Катуллом [7].

Выпускники киевской академии, преподававшие в Москве и других городах, подняли авторитет Сарбевского даже выше, чем в Киеве. В русских духовных училищах, начиная с 1722 и вплоть до 1770-х годов не было преподавателя поэтики, который бы не цитировал Сарбевского и не ставил его рядом с Горацием [8, с. 139—147]. Круг его произведений, изучавшихся в русских училищах, был значительно шире, чем в Киеве. Привезенных с собою книг явно не хватало и покупались новые издания: известно, например, что в 1728—1739 гг. для нужд смоленской семинарии было приобретено венецианское издание Сарбевского 1697 г. [4, т. 16, с. 647]. Иногда Сарбевский оказывался единственным «неотериком», при-

¹ Письмо опубликовано в переводе; оригинал, как указано в публикации, написан на польском и латинском языках.

водившимся в поэтиках, например, у смоленского преподавателя Филофея Красногорского в курсе 1758—1759 гг. [8, с. 143].

Столь широкое признание Сарбевского-поэта, а также теоретика литературы [8, с. 107—120; 9] не могло не выйти за пределы духовной школы. И действительно, в 40-е годы XVIII в. в библиотеке Академии наук находились два издания од и эпиграмм Сарбевского — виленское 1628 и антверпенское 1630 г., причем он был единственным польским поэтом, значившимся в каталоге академической библиотеки [10].

Но в это же время отмечается и определенное неприятие творчества «сарматского Горация»: не говорит о нем Феофан Прокопович, не упоминает его и М. В. Ломоносов. О знакомстве последнего с Сарбевским можно говорить уверенно, так как в 1732 г. Ломоносов слушал в московской Славяно-греко-латинской академии курс лекций Феофилакта Кветницкого «*Slavis poetica*», сохранившийся в записи Ломоносова. Сарбевский в этой поэтике цитируется неоднократно, а в разделе о «славянском стихе» Феофилакт Кветницкий приводит девять разных переводов на русский язык двух эпиграмм Сарбевского [8, с. 163—168]. Но позднее Ломоносов, который вообще чутко относился к новолатинской поэзии и отлично знал новолатинскую культуру [11; 12], нигде Сарбевского не упоминает.

Однако польский поэт не был совершенно забыт русскими поэтами эпохи классицизма. В 1752 г. его вновь высоко оценил В. К. Тредиаковский (как и Ломоносов, воспитанник «славенороссийских Афин») в новой редакции «Способа к сложению российских стихов». В § 22 главы «О разных поэмах, стихами сочиняемых» он писал: «Просветительская есть поэма, которую или о чем-нибудь бога молим, или ему какие обеты творим, пли чего у высочайших лиц просим. Может она сочиняема беты и гексаметрами, и строфами. Пример ее у Сарбиевия в кн. 20 (так! — *С. Н.*), который весь весьма достоин есть чтения» [13]. Три года спустя в обращенной к А. П. Сумарокову полемической статье «Ответ на письмо о сафической и горацанской строфах» он писал: «Мог бы я вам подтвердить состав сафический моих стихов, сверх Горация, и Сарбиевием, польским латинским пиитою, коего никто лучше поныне, по рассуждению искусных людей, не писал сафических стихов, да и едва ли есть надежда, чтоб и впредь мог кто лучше его в том быть. Но мню, что он вам незнаком» [14]. Последнее замечание, конечно, справедливо и относилось не к одному Сумарокову. Однако «искусные люди» Тредиаковским не выдуманы, одним из них был академический переводчик Кириак Кондратович (1703—1788) — плодовитый переводчик и поэт, сочинивший, по собственному признанию, 16 000 эпиграмм, из которых лишь 300 вошли в его книгу «Старик молодой» (1769). Перечисляя в предисловии источники своих переводных эпиграмм, Кондратович писал, что «из польских же эпиграмматистов мне показались Братковский и Сарбиевский, о прочих я не упоминаю, потому что у нас в России: *Scribimus indocti, doctique poemata passim. Horat.* Как ученые, так и неученые, почти все по природе стихотворцы, хотя не пииты» [15, ч. 1, с. 3]. С именем Сарбевского в сборнике связаны следующие эпиграммы.

Острастка. Sarbiev.

Бойтся и болший, как на меньших гремят:
Когда собаку бьют, тогда и львы дрожат [15, ч. 1, с. 39].

Из Сарбиевского. Католицкое покаяние

Вавринец, что Лаврентий есть, Йозефа² подрядил,
Чтоб бога за его грехи покутою³ молил,
Поклоны бить, и пост хранить, и блюсть епитимию.
Вавринцу Сарбиевский рек, скривя налево выю:
«Поститесь, молитесь Йозеф, всегда поклоны бьет
Все за тебя, и за тебя до неба побредет!» [15, ч. 2, с. 5—6].

² На поле: Иосифа.

³ На поле: покаянием.

Сын погреб отца, спросил: «Где душа отца?»
 «У Аврама, — рек каплан, — там кварта нова».
 Дав ему за то шестак ⁴, а назавтрие спросил:
 «Где теперь душа отца?» — «У Исака», — объявил.
 Дав ему за то шестак, в третий день еще спрошался,
 Рек каплан: «К Иякову от Исака перебрался».
 Громко сын тогда завыл, рек: «У черта быть ей там!
 Что по разным она по всяк день пошла рукам!» [15, ч. 2, с. 11].

Это, казалось бы, первый случай появления произведений Сарбевского в русской печати. Проверка, однако, показывает, что у Сарбевского таких эпиграмм нет. Ошибка ли это, что встречается в сборнике Кондратовича [16], или псевдоэпиграф, сказать трудно, но то обстоятельство, что в «Католицком покаянии» Сарбевский является «действующим лицом», ошибку исключает.

После публикации эпиграмм Кондратовича имя Сарбевского на три десятилетия исчезает из русской печати и появляется только в начале XIX в., в период оживления польско-русских литературных связей, когда в русской журналистике появляются статьи, посвященные истории польской литературы. Первым опытом были «Ученые известия о состоянии литературы польской», помещенные в журнале Я. А. Галинковского «Корифей, или ключ литературы». Сарбевский предстает здесь в блеске славы: он «был славнейший лирический стихотворец», «он заслуживает прозвание второго Горация. Приятность его стихов так почувствована, что на всех почти европейских языках находятся его переводы» [17, с. 117]. Хотя русский язык в этом отношении все еще являлся исключением, известность «славного польского лирического стихотворца» в России росла. В 1810 г. П. Калайдович печатает в «Вестнике Европы» перевод небольшого отрывка из биографии Сарбевского, написанной И. Красицким [18] (ср. [19]), а на следующий год «Улей» В. Г. Анастасевича помещает статью «О польских стихотворцах. (Сокращенное известие из Красицкого)», в которой излагается биография «славного лирика польского» Сарбевского, история его путешествия в Рим, знакомство с папой Урбаном VIII, который увенчал Сарбевского лавровым венцом, и дается подробный перечень его сочинений [20]. Если эта статья довольно суха и не содержит особенных похвал, то они изобилуют в статье «Первоклассные польские писатели», опубликованной в «Друге россиян» в 1817 г.: «Явился в шестнадцатом столетии великий Сарбевский к славе польского Парнаса. Сладкозвучная его лира гремела в пределах сарматов и римлян. И храмы божию украшали величественным его красноречием во времена счастливого царствования Владислава IV. Но потомство не столько обращает внимания на ораторскую его известность, сколько на неподражаемые его поэтические дарования».

Его оды, идиллии и эпиграммы исполнены высокого духа, нежного и образованного вкуса. Он, кажется, был предметом всей нежности Муз и Граций. В своих лирических стихотворениях он столь превосходит, что кроме Горация никого с ним из современных и позднейших писателей на одном ряду ставить не можно, ибо никто еще поныне творческому его не мог равняться гению.

Всякий его стих и всякая рукою его начертанная строка есть гораздо выше тех похвал, которые ему справедливо приписывали Рим и Польша» [21]. Этот панегирик открывает обзор польских первоклассных писателей, причем даже крупнейший поэт XVI в. Ян Кохановский стоит только на третьем месте (на втором — П. Скарга).

Ряд восторженных отзывов о Сарбевском в русской печати первых двух десятилетий XIX в. венчает речь П. Гулак-Артемовского на открытии кафедры польского языка при Харьковском университете (1818). Рассуждая

⁴ На поле: 4 коп.

о необходимости изучения польского языка и словесности, Гулак-Артемовский говорит, что «ежели бы я не был уверен, ... что сказанное мною о потребности изучения себя польскому языку не имеет нужды в дальнейшем вас убеждении, ... я бы вам изобразил незабвенного в ученом свете Сарбиевского, который один в течении пятнадцати с лишком веков оспаривал с достоинством венки лирической музы у Горация, который посреди Рима был торжественно увенчан лавром» [22].

Между тем все эти годы Сарбевский продолжал быть известным только «ученому свету» и некоторым «искусным людям», а в печати появился только один перевод Сарбевского на русский язык: в «Вестнике Европы» за 1806 г. было опубликовано стихотворение «К любезному философу П. Подражание Сарбиевскому (см. [24])

Жребий народов был меньше бы жалок,
Если б вносились и падали царства
Медленно, тихо, но рушатся быстро
Горды колоссы.
Счастье не прочно. Без отдыху время
Области, грады, людей низвергает;
Веки потребны для их возвышенья,—
В миг упадают.
Есть ли что твердое в мире подлунном?
Что устояло под млатом судьбины,
Тяжким ударом народам грозящей
И сокрушеньем?
Не оскорбляй же небес укоризной,
Смертный философ! смотря на могилы
Сердцу любезных, уснувших спокойно
Впредь до рассвета.
Помни, что все родимся для смерти.
Тот лишь в юдоли сей жил долговечно,
Кто добродетели шествуя следом,
Умер для неба [23].

Кем был сделан перевод — неизвестно, стихотворение подписано буквами Ж. З. Более важен вопрос об источнике перевода. Есть основания сомневаться в том, что им был латинский оригинал [24], так как незадолго до публикации «Вестника Европы» это стихотворение было опубликовано в польском переводе К. Хроминского в апрельской книжке вилenskого журнала «Dziennik Wileński» за 1806 г. [25]. «Вестник Европы» время от времени печатал переводы различных материалов из этого журнала, а поразительная близость по времени появления этих публикаций принуждает отнестись внимательно к польскому переводу, как возможному источнику русского. К сожалению, сам характер «Подражания Сарбиевскому» не позволяет определенно ответить на этот вопрос, однако некоторые детали (например, в латинском тексте отсутствует «под млатом судьбины», чему соответствует польское «pod młotem»), а также то обстоятельство, что русский перевод появился сразу после публикации этой оды в вилenskом журнале, позволяет предполагать, что источником русского «подражания» послужил перевод К. Хроминского, а не латинский оригинал.

Эта ода осталась единственным переводом произведений Сарбевского на русский язык до начала XX в., когда был выполнен перевод оды «Небесная отчизна» [26] — это 18-я, а не 9-я ода первой книги, как ошибочно указано в публикации. Он также был сделан не с латинского оригинала, а с польского перевода, вероятно, Л. Кондратовича [27]. Они не входили в антологию польской поэзии и, конечно, не выходили отдельным изданием.

Судьба Сарбевского в России включает все необходимые этапы восприятия иноязычного поэта: чтение в оригинале, изучение творчества, лестные характеристики в критических статьях, перевод и даже псевдоэпиграфы. Однако Сарбевский остался для русского читателя известным лишь по

имени «славным польским лириком», потому что по одному переводу, хоть и очень удачному, составить о нем представление невозможно⁵.

Трудно объяснить удовлетворительно и однозначно внезапную вспышку интереса к Сарбевскому в начале XIX в., а затем полное его забвение. Повлияло на это несколько факторов. Одна из предпосылок общего характера заключается в том, что в первой половине XIX в. все большее внимание притягивает польская поэзия эпохи Возрождения, что отчетливо видно по «Славянской поэзии» Н. Гербеля (1871), в которой старопольская поэзия представлена только Яном Кохановским и его младшим современником Ш. Шимоновичем. Начало этого процесса отразилось, кстати, уже в первой статье о Сарбевском, опубликованной Я. А. Галинковским. После похвал, приведенных выше, говорится, что Сарбевский «имеет места неподражаемые и возвышается по изящности, едва ли находимой в другом лирике; но иногда залетает в облака и там оставляет свой смысл и свой рассудок, или падает иногда в такой низкий энтузиазм, который более может назваться грубым, готическим, нежели прямо стихотворным» [17, с. 118].

Польская поэзия на национальном языке, хорошо известная в России в XVII — начале XVIII в., к середине XVIII в. была полностью забыта. Сарбевский же остался в литературном сознании Тредиаковского и некоторых «искусных людей» только потому, что он был новолатинским поэтом, а к середине столетия центр латинской образованности переместился из духовных училищ в Академию наук, отсюда и известность Сарбевского в академических кругах (К. Кондратович), а также уверенность Тредиаковского, что Сарбевский «незнаком» А. П. Сумарокову.

После академического периода латинской образованности в России во второй половине XVIII в. ее центрами опять становятся духовные училища. Однако теперь в общекультурном сознании латинские штудии стали восприниматься как прежние «учение по латиням», заключавшееся в бессмысленном заучивании «польско-латинских вокабул, записанных русскими литератами: ликос — волк, луппа — волчица, спириды — лапти, препосит — болярин» [29].

Общее мнение о теории словесности в духовных училищах хорошо иллюстрируют воспоминания провинциального чиновника начала XIX в. о годах обучения в полтавской семинарии, «где поэзия латинская заключалась в узнании долгих и кратких, ... где бедный ученик не видел и не слышал ничего из области литературы, алкал знаний и не находил их; не только не было библиотек, но еще наблюдали, чтобы какая книга случайно не попала в руки семинариста и не развратила нравственности будущего служителя алтаря» [30].

Эти негодующие слова, конечно, не вполне справедливы. Более того, все упоминавшиеся ценители Сарбевского — Тредиаковский, Кондратович, Галинковский, Анастасевич, Гулак-Артемовский, обучались в духовных академиях Киева и Москвы. В своей пропаганде творчества Сарбевского (не встречавшей, очевидно, сочувствия) они остановились на половине пути: если учителя духовных училищ в своих лекциях обильно цитировали, разбирали и перелагали Сарбевского, то их ученики, литераторы начала XIX в., только говорили о Сарбевском и не познакомили русского читателя с самими произведениями поэта. Впрочем, особо винить их за это не следует, ведь даже «латинский» Кохановский совсем недавно появился в русском переводе [31].

Хотя старания литераторов XVIII и начала XIX в. не дали ощутимых результатов, всему эпизоду с Сарбевским, растянувшемуся более чем на полстолетия, принадлежит все же важное место в истории польско-русских литературных контактов. Он оказался единственным польским поэтом, перешагнувшим с рукописных «схоластических» поэтик на страницы ведущих журналов первых десятилетий XIX в. и связавшим, таким образом, две эпохи польско-русских литературных связей.

⁵ Отметим, что и в XX в. Сарбевский был основательно забыт не только переводчиками, но и литературоведами до самого последнего времени, лишь недавно появились новые переводы, на этот раз с латинского языка [28].

ЛИТЕРАТУРА

1. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, CXLII. Prace historycznoliterackie, z. 11. Kraków, 1966, s. 36—37, 94—95.
2. *Димитрий Ростовский*. Сочинения. Ч. 1. М., 1818, с. 362.
3. *Маслов С. И.* Библиотека Стефана Яворского.— Чтения в Историческом обществе Нестора летописца. Кн. 24, вып. 2, Киев, 1914. с. 52.
4. Описание документов и дел, хранящихся в архиве Синода. Т. 1—50. СПб., Пг., 1868—1915.
5. *Slavia Orientalis*, 1965, № 3, s. 331—345.
6. *Верховский П. В.* Учреждение Духовной коллегии и Духовный регламент: Материалы. Т. 2. Ростов-на Дону, 1916, с. 49.
7. *Феофан Прокопович*. Філософські твори. Київ, 1981, т. 3, с. 362.
8. Wykłady poetyki w uczelniach rosyjskich XVIII w. (1722—1774) a tradycje polskie. Wrocław, 1972.
9. *Literatura staropolska i jej związki europejskie*. Wrocław, 1973, s. 309—324.
10. *Bibliothecae imperialis Petropolitanae*. P. IV, v. 1, Typis academiae imperialis scient. 1742, p. 395.
11. *Берков П. Н.* Литературные интересы Ломоносова.— В кн.: Литературное творчество М. В. Ломоносова. Исследования и материалы. М.— Л., 1962, с. 38—55.
12. *Берков П. Н.* Проблема литературного направления Ломоносова.— В кн.: XVIII век. М.— Л., 1965, сб. 5, с. 17—21.
13. *Тредиаковский В. К.* Сочинения. Т. 1. СПб., 1849, с. 174.
14. *Пекарский П. П.* История имп. Академии наук в Петербурге. Т. 2. СПб., 1873, с. 252.
15. *Кондратович К.* Старик молодой. Ч. 1—3. СПб., 1769.
16. Русская эпиграмма второй половины XVII — начала XX в. Л., 1975, с. 640.
17. Корифей, или ключ литературы. Кн. 6. СПб., 1803.
18. Вестник Европы, 1810, № 7, с. 229.
19. *Krasicki I.* Dzieła. Т. 3. Warszawa, 1803, s. 227—233.
20. Улей, 1811, № 4, с. 265—267.
21. Друг россиян и их единомышленников обоего пола, или орловский российский журнал на 1816 год. М., 1817, № 6, декабрь, с. 38.
22. Украинский вестник, 1819, № 2, с. 139—140.
23. Вестник Европы, 1806, № 13, с. 41—42.
24. *Sarbievii M. C.* Lyricorum libri IV. Antverpiae, 1632, p. 57—58.
25. *Dziennik Wileński*, 1806, kwiecień, s. 93—94.
26. *Бохан Д. Д.* Из польской поэзии. Минск, 1906, с. 105.
27. *Konдратовicz I.* Poezje. Т. 9. Warszawa, 1872, s. 42—43.
28. Польская поэзия XVII в. Л., 1977, с. 40—44, ср. 78—79, 82, 116, 185.
29. *Ключевский В. О.* Сочинения. Т. 7. М., 1959, с. 410.
30. *Тукалевский И.* Воспоминания. М., 1834, с. 31.
31. *Кохановский Я.* Лирика. М., 1970, с. 154—170.



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Д. СИРКОВ, Н. ГОРНЕНСКИ, С. ПЕТРОВА, Г. БАТАЛСКИ. Народът против фашизма. 1939—1945. Исторически очерк за антифашистката борба на българския народ по време на Втората световна война. София, 1983, 368 с.

Д. СИРКОВ, Н. ГОРНЕНСКИЙ, С. ПЕТРОВА, Г. БАТАЛСКИЙ. Народ против фашизма. 1939—1945. Исторический очерк антифашистской борьбы болгарского народа в годы второй мировой войны

В последние годы болгарские историки немало сделали для изучения проблем антифашистской борьбы болгарского народа на разных этапах второй мировой войны. Помимо ряда монографических исследований, вышла крупная работа «История антифашистской борьбы в Болгарии. 1939—1944» в двух томах [1], выполненная коллективом авторов — историков, философов, экономистов. Одновременно велась подготовка к изданию документов и материалов на ту же тему¹. На этой основе логичным было издание рецензируемой книги, являющейся своего рода обобщением достигнутого в изучении важной темы. Ее отличает высокий научный уровень (Д. Сирков, Н. Горненский, С. Петрова, Г. Баталский давно работают в данной области) и одновременно доступность для широкого круга читателей: материал в книге излагается свежо и эмоционально.

В книге восемь глав, структура ее хорошо продумана. Характерной чертой монографии является широкий хронологический охват истории антифашистской борьбы болгарского народа — если прежде эта тема рассматривалась чаще всего в рамках 1941—1944 гг., то здесь авторы раздвигают временные границы и, следовательно, само содержание темы. Это происходит, во-первых, за счет специального рассмотрения этапа 1939—1941 гг. (гл. 1), т. е. с начала второй мировой войны до нападения фашистской Германии на Советский Союз. В большей своей части эти годы были для Болгарии еще мирными, и борьба демократических сил во гла-

ве с Коммунистической партией была направлена тогда против наступления фашистской реакции в самой Болгарии и против угрозы потери страной национальной независимости под нажимом Германии. Введение этого материала представляется вполне обоснованным. Имея значение и сам по себе, он также подводит читателя к пониманию сложной и своеобразной обстановки, сложившейся в Болгарии в 1940—1941 гг. и, следовательно, к пониманию условий, в которых болгарским коммунистам приходилось мобилизовывать массы на активную антифашистскую борьбу.

Во-вторых, авторы уделяют специальное внимание периоду после победы народного восстания 9 сентября 1944 г. вплоть до окончания войны в Европе (гл. 7 и 8). Главные сюжеты здесь — борьба с остатками внутреннего фашизма в народно-демократической Болгарии, ликвидация его корней и участие Болгарии, присоединившейся к антигитлеровской коалиции, в войне против фашистской Германии, вклад Болгарии в антифашистскую борьбу в международном плане. Включение этих сюжетов также представляется обоснованным, благодаря этому рассмотрение темы получает логическое завершение.

В средних главах рассматриваются различные аспекты антифашистской борьбы 1941—1944 гг., создание и деятельность боевых групп (саботажных и разведывательных), партизанское движение, деятельность ятаков, помогавших партизанам, работа по разложению царской армии, установление сотрудничества с югославскими и греческими антифашистами. Подробно освещены внешняя и

¹ Издание было осуществлено в 1984 г. [2].

Внутренняя политика буржуазных правительств Болгарии на разных этапах периода, позиции правящих кругов и буржуазной оппозиции. Особое значение авторы придают ходу событий на фронтах второй мировой войны. Рассмотрено влияние всех этих факторов на стратегию и тактику антифашистской борьбы болгарского народа.]

В книге уделено внимание также структуре органов по мобилизации антифашистских сил и организации их борьбы. Читатель получает сравнительно четкое представление о взаимодействии Заграничного бюро ЦК Болгарской Рабочей партии (БРП) и ЦК партии, действовавшего внутри страны; о деятельности Центральной военной комиссии при ЦК БРП и создании на местах сети военных комиссий, руководивших боевыми группами; об организации Главного штаба Народно-освободительной повстанческой армии (НОПА) и его руководстве борьбой в 12 военно-оперативных зонах; о создании Национального комитета Отечественного фронта (ОФ) и комитетов ОФ в селах и городах; о структуре органов, задачей которых была работа среди различных контингентов царской армии. И все это — не голая схема: авторы показывают тяжелую военную и политическую работу конкретных лиц. Ими восстановлены десятки имен участников народно-освободительного движения. Поистине девиз: «Никто не забыт и ничто не забыто» имеет общечеловеческое значение. Трудные условия подполья, когда провалы и контрудары следовали один за другим, не раз вынуждали все начинать чуть ли не с самого начала. Выбывали из строя одни, нужно было находить им надежную замену, восстанавливать нарушенные связи, целые организации.

Полезно было бы при этом дать портретные зарисовки крупнейших руководителей борьбы — Ц. Драгойчевой, Хр. Михайлова, А. Иванова, Вл. Георгиева, Д. Терпешева, Бл. Иванова и др. Нельзя с сожалением не отметить также, что деятельность ЦК БРП значительно менее раскрыта в книге, чем это сделано в отношении других руководящих звеньев антифашистского движения.

Завершается рассмотрение этапа 1941—1944 гг. разделом о победе 9 сентября 1944 г. Авторы подробно показывают, как готовилось народное вооруженное восстание. 6 сентября 1944 г. в столице было создано новое структурное звено — нелегальное оперативное бюро, непосредственно связанное через Бл. Иванова с ЦК

БРП и Главным штабом НОПА, от которых бюро получало конкретные задания. «Таким образом,— отмечается в книге,— организаторы восстания в Софии нашли новое решение проблемы сочетания действий нелегальных БРП, РМС и ОФ с вооруженными силами — партизанами, членами боевых групп в окрестностях столицы и революционными силами в казармах» (с. 241). Страницы о самом восстании и о его победе, открывшей болгарскому народу путь к социализму, читаются с живым и неподдельным интересом. Авторы убедительно показывают, как революционная борьба демократических, антифашистских сил Болгарии во главе с БРП слилась с освободительной миссией Красной армии, как эти два потока устремились навстречу друг другу, что и обеспечило победу революции.

По мнению авторов, для определения характера восстания 9 сентября 1944 г. важно ответить на вопросы: а) какой класс (и его политический авангард) играет роль гегемона; б) каковы объективно назревшие задачи, решаемые новой властью; в) каковы движущие силы восстания. И, разумеется, каково соотношение общественно-политических сил внутри страны и обстоятельство международной обстановки (с. 252).

Рассмотрев на конкретном материале каждый из указанных факторов, авторы приходят к выводу: «Революция 9 сентября 1944 г., победившая по законам социалистической революции, была в основном, главным повторением Октябрьской революции и отличалась от нее лишь во второстепенном, не решающем, порожденном национальными традициями и конкретной национальной и международной обстановкой» (с. 260). Правда, в аргументации авторов хотелось бы видеть более четкие формулировки. На с. 253 они характеризуют Солдатское (1918), Июньское (1923) и Сентябрьское (1923) восстания как исторические вершины, достигнутые в борьбе болгарским пролетариатом, что позволяет воспринять эти восстания как чисто пролетарские, а это, как известно, не соответствует действительности [3].

В книге, на наш взгляд, недостаточно полно раскрыта позиция интеллигенции в народно-освободительной борьбе, а этот вопрос в условиях Болгарии имел особое значение.

В заключение подчеркну, что высокий в целом уровень рецензируемой книги способствует аргументированному развенчанию буржуазного пропагандист-

ского мифа об экспорте революции в ряд стран Центральной и Юго-Восточной Европы в результате вступления туда Красной армии в 1944—1945 гг. Авторы показывают, как на протяжении десятилетий, начиная с 20—30-х годов, болгарский народ вел непримиримую борьбу с фашизмом, как в годы второй мировой войны она переросла в вооруженное сопротивление, а затем и в народное восстание. Принципиально важно также, что зарубежные авторы, в данном случае болгарские, правильно, с марксистско-ленинских методологических позиций осветили причины возникновения и характер второй мировой войны и высоко оценили

героизм советских людей в гитлеровской битве народов, вклад СССР в разгром гитлеровской Германии.

Гришина Р.

ЛИТЕРАТУРА

1. История на антифашистката борба в България. 1939—1944 гг. Т. 1—2. София, 1976.
2. Антифашистката борба в България. Документи и материали. В два тома. 1939—1944. София, 1984.
3. История на Българската комунистическа партия. София, 1984, с. 191—193, 241—242, 267.

Из истории университетского славяноведения в СССР. М., 1983, 222 с.

В последнее время усилилось внимание к истории славяноведения: русского и советского. Думается, что такое явление не случайно. При широком размахе исследований неизбежно наступает момент, когда следует оглянуться и осмыслить проделанное, чтобы определить направление дальнейшего движения вперед.

Интерес к историографическим проблемам отражает и рецензируемый сборник — второй в серии «Славяноведение в МГУ»¹. Публикуемые в нем статьи охватывают широкий круг вопросов истории изучения и преподавания славистических дисциплин в России XIX — начала XX в. Сборник открывается статьей Б. Н. Билунова «Из истории славяноведения в Московском университете (1811—1835)». Используя опубликованные и архивные документы, автор пытается определить время зарождения славяноведения в России. Полемицируя с теми, кто ведет его начало с 30-х годов XIX в., Б. Н. Билунов обосновывает свою схему становления этой науки. Истоки процесса исследователь относит к середине XVIII в., завершение —

к 1840—1850 гг., «когда закончилось складывание на научной основе комплексных представлений об изучении зарубежных славянских народов» (с. 33). Автор намечает несколько промежуточных этапов и сосредоточивает внимание на периоде 10—30-х годов XIX в., который представляет собой «важное связующее звено в длительном процессе возникновения и формирования славяноведения в России» (с. 33). В работе приводятся ряд неизвестных или малоизвестных фактов, важных для понимания того, как происходило формирование в стенах университета новой славистической дисциплины. Интересны страницы, посвященные М. Г. Гаврилову — профессору первой «славянской» кафедры, учрежденной в 1811 г. Его имя отсутствует даже в таком полном справочнике, каким является библиографический словарь «Славяноведение в дореволюционной России» (М., 1979).

Л. П. Лацтева опубликовала статью «Преподавание славистических дисциплин в Московском университете в XIX — начале XX в.». Это не первое ее выступление на данную тему, и потому в новой работе можно найти буквальное текстовое сходство с предыдущими (см., например, [1, с. 287 и др.] и с. 48, 49 ре-

¹ Первый сборник «Историки-слависты Московского университета. 1939—1979» был издан в 1979 г.

цензурируемого издания). Такое повторение снижает интерес к работе. Не лучше ли, не гоняясь за солидным объемом, печатать действительно новое, отсылая в необходимых случаях к уже вышедшим материалам?

Статья Л. В. Гориной «Марин Дринов и Московский университет» содержит данные о студенческой жизни болгарского историка и общественного деятеля. Заслуживает внимания то, что она ликвидировала «белое пятно» в его биографии. Архивные документы, обнаруженные Гориной, сообщают нам новые подробности о защитах Дриновым магистерской и докторской диссертаций. Статья представляет ценный вклад в его научную биографию.

З. С. Ахунд-Заде в статье «Нил Александрович Попов (1833—1891)», используя личный фонд историка, хранящийся в рукописном отделе Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, его письма, выявленные в научных учреждениях Югославии, а также опубликованные в различных русских и зарубежных изданиях рецензии на его труды, восстанавливает биографию ученого. Однако образ этого человека подается односторонне. Автор избегает делать вывод о его принадлежности к охранительному направлению. Видимо, поэтому в статье отсутствует оценка политической направленности московской этнографической выставки 1867 г., в которой Попов принял самое активное участие. Тогда неизбежно следовало бы дать политическое определение взглядов ученого. Преподавательская деятельность Н. А. Попова характеризуется Ахунд-Заде на основании одного некролога, где покойного назвали «хорошим преподавателем» (с. 89). Однако известно, что о Попове судили и иначе. П. Н. Милоков отзывался о своем профессоре далеко не лестно: «Что касается лекций Нила Попова, — с ними мы познакомились только перед самым экзаменом. Раньше знали о них только одни студенты — издатели лекций. Но и для них труд издания, по взаимному согласию, превращался в труд переписывания отмеченных профессором мест из разных специальных работ по русской истории» [2]. А советский исследователь, знаток истории Московского университета, Б. Г. Сафронов сказал о Н. А. Попове: «...абсолютная педагогическая бесцветность» [3]. Возможно, сказано слишком сильно; возможно, и процитированный источник тенденциозен. Автор впра-

ве соглашаться или отвергать подобные мнения, но прореагировать на них в серьезной научной работе необходимо — без этого не получается объективного анализа.

О знаменитом исследователе славянства И. И. Срезневском высказано немало противоречивых оценок. Одни называют его основоположником демократической традиции в истории русского славяноведения, другие не считают возможным разделять подобное мнение. М. Ю. Досталь принадлежит к последним. В статье «История Чехии в лекционных курсах И. И. Срезневского (50-е годы XIX в.)» она показывает, что, хотя ученый и не разделял многих положений славянофильской концепции, его взгляды расходились с позицией русских революционеров-демократов. Общий вывод М. Ю. Досталь, что «трактовка И. И. Срезневским истории Чехии соответствовала уровню буржуазно-либеральной историографии того времени» (с. 118), звучит убедительно, поскольку сделан на основе анализа печатного и неопубликованного наследия слависта и сопоставления выдвинутых им положений с мнением чешских либеральных историков, особенно Ф. Палацкого.

В разделе «Публикации» напечатаны «Воспоминания о гимназических годах» С. А. Никитина и «Из воспоминаний сестры о брате — профессоре Сергее Александровиче Никитине» Е. А. Никитиной. Названные материалы позволяют шире и глубже представить жизненный путь исследователя, много сделавшего для развития советской науки. Опубликование статьи Ю. В. Готье «Славяноведение в России и СССР» и документов о ленинградских славистах: Л. В. Разумовской, Е. З. Волкове, В. Г. Чернобаеве и других, а также материалов об историком-интернационалисте С. И. Зиниче обогащают наше представление об отдельных представителях науки и всем процессе становления советского славяноведения. В разделе «Хроника» дана информация о работе кафедры славянской филологии и о чтениях, посвященных памяти академика В. И. Пичеты, которые проходят один раз в три года, начиная с 1978 г., когда отмечалось его 100-летие.

В целом сборник получился содержательным и остается пожелать коллективу кафедры истории южных и западных славян продолжить такой тип изданий.

Иванов Ю. Ф.

1. *Липтвея Л. П.* Изучение истории славян в Московском университете в конце XIX — начале XX в.— В сб.: Славяне в эпоху феодализма. М. 1978.
2. *Милюков П. Н.* В. О. Ключевский и его ученые труды.— Известия общества славянской культуры. Т. I, кн. 1. М., 1912, с. 31.
3. *Сафронов В. Г.* Р. Ю. Виппер и наука его времени. М., 1976, с. 11.

КИШКИН Л. С. Чешско-русские литературные и культурно-исторические контакты. Разыскания, исследования, сообщения. М., 1983, 364 с.

Весьма обширные, богатые и плодотворные чешско-русские контакты уходят своими корнями в далекое прошлое обоих народов. Со временем стало все более очевидно, что эти контакты играли отнюдь не второстепенную, а очень существенную для становления сознания и культуры обоих народов роль. В них нашли свое отражение различия обеих культур, существовавшие общественные противоречия; они были составной частью общественной борьбы. По мере их развития возрастала и потребность в их познании, которое не только удовлетворяло бы академический интерес, но и служило бы важным и актуальным культурно-политическим задачам в самом широком смысле слова.

В современных условиях развитого социалистического общества, в результате расширения, а также возникновения нового качества чехословацко-советских культурных контактов, непосредственно участвующих в создании социалистической науки и культуры, повышается и необходимость изучения их истории и требования к нему.

Книга Л. С. Кишкина «Чешско-русские литературные и культурно-исторические контакты» посвящена этой проблематике и представляет собой итог тридцатилетнего труда автора в области этих исследований. Вместе с тем здесь обобщены и учтены многие работы чешских и совет-

ских ученых по данной теме. Хотя в книгу включены статьи разных лет, тем не менее ее можно и нужно воспринимать как единое целое — и потому, что для этого издания статьи были основательно переработаны и дополнены, причем значительная их часть вообще публикуется впервые, и потому, что собранные воедино работы позволяют составить относительно полное представление о научном методе автора и о его вкладе в исследование этой проблематики. Стремление придать труду единый характер проявляется и в расположении отдельных глав (по хронологическому принципу, основанному на последовательности рассматриваемых периодов, а не на времени написания работ), и в кратком историческом вступлении, где обрисованы чешско-русские контакты с IX по XIX в. и обобщена основная тематика книги.

Широта, разнообразие и сложность проблематики обусловили избирательный подход. Данный труд представляет собой не общую и исчерпывающую картину (такая задача превосходила бы возможности одного автора и рамки одного сравнительно небольшого издания), но скорее очерки из истории чешско-русских контактов. И так уже охват исследуемой проблематики весьма широк и разнороден: отдельные главы посвящены выдающимся личностям и почти или

совсем забытым политическим деятелям и представителям культуры, личным контактам и вопросам перевода, откликам на литературные произведения и литературным воздействиям. Это разнообразие, а порой и несоразмерность исследуемых проблем сама по себе — не недостаток: во-первых, потому, что они способствуют воссозданию многосторонней картины, что в данном случае особенно желательно и важно, во-вторых, потому, что автор решает отдельные вопросы и привлекает частные сведения всегда на фоне широкого культурно-политического контекста (независимо от того, выражается ли это словесно или нет), исторического развития обоих народов и его главных переломных моментов. Основой объединения отдельных работ является марксистское мировоззрение и понимание истории, нации, культуры, а также ее связей с освободительным движением.

Книгу в целом можно разделить на три большие тематически-хронологические раздела: первый охватывает период с раннего средневековья до начала XIX столетия, второй посвящен, в основном, Пушкину и его эпохе, третий касается русско-чешских и чешско-русских культурных отношений второй половины XIX в.

К самому раннему периоду — ко второй половине XII в. — относится глава «Мария Всеволожая», в которой автор исследует правомерность представлений о чешском происхождении Марии, снохи Юрия Долгорукого и жены великого князя Всеволода Большое Гнездо. Следует отметить не только то, что Л. С. Кншикин является первым исследователем, самостоятельно занявшимся этим вопросом, но и то, что он освещает личность Марии как жены правителя, ее духовный облик, положение в семье и отношение к детям. Не менее интересны, чем гипотеза о чешском происхождении Марии, указания на другие конкретные формы русско-чешских связей этого периода — династические браки, совместные военные действия, культурные влияния.

К этому разделу, наряду с обзорной статьей, освещающей рецензию творчества Я. А. Коменского в России (особенно ценны здесь для дальнейших исследований сведения об отношении прогрессивных общественных деятелей к Коменскому) и развитие советской комениологии, относятся два портретных очерка, посвященных мало известным, но несмотря на это отразившим в своих жизненных судьбах две значительные эпохи

русской истории — просвещенные и движение декабристов — чешским деятелям. Первый из них — Ф. Кличка, немало способствовавший развитию образования, культурных учреждений и экономики пркутского края во время своей пятилетней деятельности в качестве тамошнего губернатора. Второй — В. Враницкий, член тайного общества декабристов, после поражения восстания разделивший с ними тяжкую участь сибирского изгнания и там же умерший. Их обоих объединяет участие в прогрессивных общественных явлениях и вместе с тем их судьбы являют заметный контраст: в случае Клички это участие могло сочетаться с удачной карьерой, во времена же Враницкого ценою этого была уже «чахотка и Сибирь».

В центре «пушкинского» раздела — обширная статья «Пушкин и чешская литература», где, во-первых, отмечается, что «расцвет творчества А. С. Пушкина совпал с национальным и литературным возрождением Чехии, что, несомненно, отразилось на характере первоначального знакомства с ним» (с. 126), а во-вторых, что чешский народ знакомился с Россией и русской культурой начала XIX в. «в значительной мере через Пушкина» (с. 128). Обе эти мысли являются ключом к пониманию интернациональных прогрессивных задач большого искусства как поборника революционной освободительной борьбы не только в своей стране, а также значения такого искусства; здесь также освещается близость чешского демократического движения с идейными и художественными ценностями творчества Пушкина.

Автор показывает на конкретных примерах отношение Пушкина к славянским народам и в частности — к чехам, приводит данные о том, что из чешской литературы было при жизни Пушкина переведено на русский язык и какие чешские книги находились в библиотеке поэта; рассматривает основные переводы произведений Пушкина на чешский язык, наиболее серьезные оценки их в чешской печати, их восприятие в чешском обществе, особенно со стороны видных чешских поэтов и писателей XIX в.; останавливается на пушкинских мотивах в чешской литературе того времени. Эти факты особенно интересны советскому читателю — они способствуют пониманию того воздействия, которое оказывало творчество Пушкина в Чехии, а также философских и эстетических критериев отдельных чешских художников и кри-

тпков. Однако, некоторые примеры литературного влияния Пушкина не совсем убедительны.

Пушкинская тема продолжена в двух следующих работах: одна из них посвящена пребыванию П. А. Вяземского в Чехии и написанным там стихотворениям, вторая знакомит с рукописями и портретами из архива Дарьи Фикельмон, долго жившей и похороненной в Чехии.

Главы третьего раздела, посвященные С. Чеху, Й. В. Сладеку и М. Алену, в большой степени основаны на многолетних предшествующих исследованиях автора. Здесь они развиты в избранном направлении, ибо связь с Россией и русской культурой, особенно с ее прогрессивными течениями и представителями, была характерна для всех этих чешских художников. Поэтому их также можно рассматривать как подлинных представителей прогрессивного демократического направления в чешско-русских культурных контактах той эпохи. Автору удалось на конкретных примерах воссоздать основные черты нового этапа в развитии чешско-русских контактов, их большое разнообразие, более высокий уровень и растущий демократизм, связанный с освободительным движением и задачами культуры в этом движении. Статьи о чешских художниках, связавших свой жизненный и творческий путь с Россией и ее культурой — В. Кафке и Г. Франке — являются подтверждением уже «с другой стороны» этого взаимного сбли-

жения демократических взглядов и художественного реализма.

Многообразие тематики, богатство и разнородность до сих пор не исследованных в таком плане проблем выдвигали перед автором и значительные требования методологического характера. Работа над отдельными главами книги требовала изучения и классификации огромного количества литературы (вообще впервые представленной в таком составе), а также оценки существующих гипотез, исследований и их методов и, разумеется, значительных самостоятельных изысканий и открытий. Последнее очевидно было автору ближе всего, ему удалось воссоздать в книге непосредственную атмосферу поисков и находок, «почти детективных историй», встреч с конкретными людьми, поделиться с читателем горячей любовью к предмету.

Значение различных аспектов рецензируемой книги велико, однако ее первооткрывательский, можно сказать — будительский, пропагандистский характер представляется наиболее важной и самобытной ее стороной. В книге отразилась горячая любовь автора к чешскому народу и его культуре, его прямой путь от участия в освобождении Чехословакии — к научному изучению ее истории, культуры и современного состояния чехословацко-советских контактов.

Герштова Я.

НОВЫЕ РУМЫНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ФОЛЬКЛОРУ

Успехи румынской школы фольклористов, зачинателями которой в начале нашего века были Т. Памфиле, С. Фл. Маршан, Е. Никулица-Воронка, А. Горовей, в позднее Р. Вуйя и И. Мушля, определялись преимущественно практическим подходом к объекту исследования: изучению фольклорных текстов предшествовало их собирательство, систематизация, описание. В результате в научный обиход был введен обширный, тщательно и равномерно собранный, во многих случаях чрезвычайно архаичный материал. И по сей день публикуются коллекции фольклорных текстов по отдельным регионам, переиздаются сборники, ставшие классическими (Г. Теодореску, Г. Точилеску, А. Мариенеску). К 1930-м годам

в румынской традиции под фольклором стали понимать не только устное народное творчество, но верования и обряды, т. е. всю духовную жизнь народа. Такое широкое понимание фольклора (разделяемое многими и по сей день) и определяло постоянный интерес собирателей и исследователей ко всем аспектам духовной жизни народа.

Выбранные для обзора книги отражают разнообразие подходов к изучению народной культуры: это и работы по эстетике фольклора, некоторых его жанров, «палеоисследования», направленные на восстановление «мифологических истоков» и философии космогонических преданий, анализ фольклорных мотивов в румынской драматургии.

Автор «Пролегомен к эстетике фольклора» П. Урсаке [1] утверждает, что его книга — один из первых опытов создания новой, пограничной науки, поименованной в заглавии. Свою задачу он видит прежде всего в выработке методологии исследования. Добросовестно изучив работы Р. Эскарпи и Л. Гольдмана, Ж. Лакана и М. Фуко, Й. Хэйзинги и А. Греймаса, П. Урсаке демонстрирует читателю возможности социологической, семиотической и психоаналитической методик. Правда, они представляют для автора самодостаточный интерес, а объект исследования оказывается производным от них. Именно поэтому в результате семиотического анализа обрядов, связанных с рождением, свадьбой, похоронами, выясняется, что они представляют собой систему знаков, выполняющих инициационную, интегрирующую, идентификационную и опознавательную, информативную или референциальную функции. Материал оказывается лишь иллюстрацией известных положений семиотики. То же происходит и с заговором, сказкой и дойной, к которым применяется психоаналитика. Исходя из дефиниции фольклора как культурной системы связей и трансформаций и оставаясь в кругу таких понятий традиционной эстетики, как категории, автор не способствует открытию нового. Действительно, при необходимости и в фольклоре, а в частности и румынском, можно обнаружить категории прекрасного (понимаемого в функциональном, виталистическом смысле), комического (имеющего оценочный характер), изящного, наивного, великого, трагического, абсурдного.

Большой интерес представляют те главы, где рассматриваются специфически румынские формы образности: «хроматизм» (трехцветная структура белый-черный-красный), стилизация, геометризация, герметический характер пластических символов. Эти характеристики народной культуры прослеживаются по всей территории страны со времен неолита, т. е. представляют собой пространственно-временной континуум.

Важность проблем, связанных с поэтикой фольклора, отдельных его жанров, очевидна для большинства специалистов. Ценны исследования румынской народной поэзии А. Фоки, автора монографий о «Миорице», о южноевропейском фольклоре. В его «Эстетике устного творчества» [2] на основе «формульной теории» М. Пэрри и А. Лорда, исследуются законы построения народных поэтических

текстов. Используя синкретический подход к анализу песен и баллад, А. Фоки выявляет роль музыки: при пении исполнитель ради определенных эффектов повторяет ряд стихов, причем особо значимыми оказываются повторы конечных строк «общих мест». Цель повторов — подчеркнуть различие между соответствующим отрывком и контекстом, т. е. «общим местом».

Исследователь отмечает большой процент глагольных (имперфектных) рифм (от 33% до 50%), появляющихся, как правило, во второй, более свободной половине текста и в силу своей простоты представляющих исполнителю большую свободу импровизации. Отсутствующее в румынском эпосе деление на строфы компенсируется чередованием вокала и инструментальной части песни, причем границы поэтического и музыкального куплетов могут и не совпадать. В то же время прослеживаются и некоторые закономерности: поэтический текст после интерлюдии начинается с формулы или риторического вопроса, иногда сигналом к музыкальным паузам становится тройной параллелизм. Совокупность такого рода приемов дает А. Фоки основание говорить об определенной «театральности» песни (а точнее — ее исполнения).

Больше всего места отводит румынский ученый изучению формул в румынском эпосе. Их функция — в указании на переход от «реальности» в область воображаемого, особенность — в подвижности репертуара (как у разных исполнителей, так и у одного и того же). Если зачинные формулы должны привлечь внимание аудитории, то финальные требуют вознаграждения певцу, медиальная сигнализирует о переходе к импровизационной части, к новому фабульному эпизоду. Порой они составляют $\frac{1}{5}$ от всего объема текста. Исключительно важным представляется вывод автора о том, что формулы появляются не на самой архаичной стадии (при 5-6-сложных стихах), а позднее — в 7-8-сложных. Детально анализируются структурные схемы формул-синтагм, часть которых подчиняется метрико-ритмическим целям. Для генетических исследований по стиховедению существенно наблюдение над «этимологическими тропами», известными южным славянам, как и всем романским народам.

А. Фоки проделал ту же работу, что и советский исследователь былин П. Ухов, составив и проанализировав список «общих мест»: в румынском эпосе их 127 (при 85 — в былинах), причем исполь-

аются они далеко не во всех сюжетах (в 145 из 300) и не во всех вариантах одного сюжета. Количество общих мест в отдельном тексте колеблется от 1 (чаще всего) до 9. Большое формальное и сюжетное разнообразие «общих мест» затрудняет их классификацию, однако возможно выделить описательные (портреты, пейзаж), сюжетные, правоучительные элементы. В то же время они исключительно стабильны во времени (их можно проследить в течение последних 200 лет) и в пространстве (их репертуар идентичен по всей Румынии). «Хороший» исполнитель, по определению А. Фоки, располагает обширным репертуаром формул, сюжетов, формульных схем, целым набором технических приемов, особенно «общих мест».

Книга Ч. Табарчи «Поэтика пословицы» [3] задумана как труд, поднимающий все проблемы, связанные с такой активно развивающейся областью фольклористики, как паремиология. Если согласно прежним теоретическим представлениям пословицы рассматривались как реликты древней философии, юридических или дидактических кодексов, то Ч. Табарча предлагает для выявления генезиса жанра учитывать не только содержательный, но и формальный аспекты (орнаментальный характер языка, необходимость конструкций, «матриц», способствующих запоминанию, своего рода «лингвистическая игра»). К сожалению, генезис пословиц так и остается неизвестным. Автор ограничивается традиционным утверждением, что фонд пословиц может пополняться за счет живой речи, ассимиляции клише и штампов.

Изучение таких формализованных текстов, как пословица, побуждает к их классификации. В своей логико-семантической типологии Ч. Табарча развивает принципы М. Кууси и Г. Л. Пермякова; 5 выделенных им основных типов пословиц построены на комбинации таких понятий, как логический объект, субъект, предикат и т. д. Исследователь определяет пословицу как «лингвистическое высказывание с определенной логико-семантической структурой, которое прерывает речь для метафорического описания внешней ситуации». Характеризуя это определение как операционное и функциональное, автор все же упускает из виду, что под него могут подойти и многие другие виды чужого слова (цитаты, афоризмы и др.). Исходя из предложенных логико-семантических категорий и таких черт стилистики пословицы, как

сходства и контрасты, Ч. Табарча моделирует текст новой пословицы, которая звучит как «обжора спит мало» (и отвечает всем формальным и просодическим требованиям).

Автор отводит две небольшие главы проблеме функционирования пословиц в истории культуры: античные риторика рекомендовали активно пользоваться пословицами в устной речи, этот жанр ценился и в средние века. Что касается национальной традиции, то здесь вывод о древности румынских пословиц (при отсутствии сколько-нибудь древних фиксаций) только на основании любви старых румынских авторов к сентенциям представляется необудительным.

Ч. Табарча определяет свою монографию как «введение» в изучение пословиц, которое должно пробудить интерес читателей и специалистов и наметить новые пути. Но, на наш взгляд, большинство из направлений, разрабатываемых автором, не новы и не перспективны.

Монография М. Брэтулеску «Румынская колядка» [4] относится к тому типу современных работ по народной культуре, когда анализируются не только формальные и содержательные характеристики жанра, но и условия его функционирования (в данном случае обрядовый контекст), терминология. Такого рода исследования можно по праву назвать комплексными, сочетание литературоведческого, лингвистического и этнографического подходов и обуславливает удачное решение проблем генезиса жанров и в более широкой перспективе — проблем этногенеза.

По мнению М. Брэтулеску, колядка возникает как поэтическое описание самого обряда колядования — обхода домов с пожеланиями благоденствия, известного еще римлянам. Исходя из этого, «протокольный» тип сочтен наиболее древней разновидностью жанра, к архаичным также отнесены космогонические, профессиональные, эротические, семейные. Более поздние слои включают исторические, библейские и апокрифические сюжеты; взаимодействие с другими песенными жанрами привело к образованию смешанных жанровых форм — колядке-балладе, колядке-песне.

Касаясь географического распространения 217 типов, М. Брэтулеску констатирует, что только 74 встречаются повсеместно, 110 принадлежат трансильванской зоне, 33 — мунтэнской. Хорошо сохранившемуся обряду на северо-западе страны соответствует и большое разнооб-

разие не только типов, но и вариантов одного сюжета, здесь же сильнее всего видна христианская экспансия в народную культуру — 17 сюжетов. Проанализировав общий сюжетный фонд, отметив в нем преобладание мифологических мотивов, исследовательница делает вывод, что он составляет древнейший слой и, следовательно, формирование жанра изначально происходило на всей территории Румынии в эпоху романизации фракийского населения Балкан, и лишь затем сформировались две различные зоны.

Интересны и наблюдения над системой персонажей, отдельными сюжетами и мотивами, элементами поэтики. Книга имеет и большой практический смысл: помимо впервые осуществленного в румынской фольклористике указателя сюжетов, занимающего половину объема работы и учитывающего также хранящиеся в архивах записи, и индекса мотивов, приведена полная библиография опубликованных текстов колядок.

Одной из специфических разновидностей колядных текстов посвящена по-смертно опубликованная работа виднейшего румынского фольклориста П. Карамана «Зловредное колядование на юго-востоке Европы» [5]. Она служит продолжением его ставшей уже классической монографии «Колядование у славян и румынов», изданной в 1933 г. на польском а в 1983 — и на румынском языках.

Эта работа посвящена формам и месту «зловредного колядования» в системе всего обряда. Если колядки и сам обход домов призваны обеспечить благополучие и счастье хозяев, а сами колядники обозначаются в текстах не иначе как «добрые гости», «добрые молодцы» и порой отождествляются со светилами или святыми, то имплицитно предполагается, что носители счастья наделены и обратной силой — внести беду в дом. Это происходит в случае, когда хозяева либо отказываются принять их, либо недостаточно щедры. Колядники исполняют тексты, называемые П. Караманом «расколядованием» и содержащие угрозы и перечисления всех возможных неудач и напастей. Они построены как зеркальное отражение «правильных» колядок с пожеланиями здоровья, урожая, успешного сватовства и т. п.

Примеры этого «зловредного колядования» автор находит не только у румын и у славян, но и на противоположном краю Европы — в Англии — «Рождественская песня» Диккенса, «Под зеленым деревом» Т. Харди.

Периодическое издание, в котором опубликована эта работа, — «Фольклорный ежегодник» задумано как продолжение «Ежегодника фольклорного архива», выходившего в 30—40-е годы и публиковавшего фольклорные и этнографические материалы, собранные в разных районах страны. В ежегоднике за 1981 г. напечатаны также два материала об обряде купания Пахаря [6; 7], один из которых подготовлен Т. Германом. Обряд стлкивания в воду первого выпешдшего на пахоту парня толкуется Т. Германом как ритуал очищения Пахаря, долженствующий обеспечить урожай и дождь. Статья, основанная на записях из 65 сел, позволяет восстановить яркий фрагмент румынской духовной культуры [7].

Монография Г. Врание «Поэтика Миорицы» [8] посвящена главному памятнику румынского фольклора. Автор затрагивает большой комплекс проблем, подвывает его многочисленными предшественниками. Задача работы — в аналитическом описании фольклорных текстов, в их сопоставлении для определения особенностей, инноваций по сравнению с первоначальным образцом — „архетипом“ и, наконец, выявлении структурных изменений по отдельным зонам, так чтобы в конце получить общую картину национального памятника.

Важнейшим выводом работы становится утверждение, что колядный вариант «Миорицы», распространенный в Трансильвании и Банате, древнее, чем балладный (прежде считалось наоборот). Именно «Миорица»-колядка была «экспортирована» настухами с запада страны в другие области.

Анализируя стиль памятника, Г. Врание использует понятие «дискурсивности», которая и придает, по его мнению, «Миорице» особый статус национального эпоса (наподобие гомеровского). Миоритический стиль или «тон», считает исследователь, обладал большой устойчивостью, пока не стал «размываться» из-за непрофессионального исполнения.

Наряду с изучением поэтики фольклора, отдельных его жанров, румынские исследователи уделяют немало внимания содержательному анализу фольклорных мотивов, сюжетов, идей.

К этому направлению относится книга специалиста по восточной философии Г. Владудеску «Философия румынских космогонических легенд» [9], рассматривающего миф как своего рода протофилософию. Основным структурным принципом румынской космогонии (реконструи-

руемой по фольклорным текстам) автор считает дуализм, последовательно возводя его к богомилству, манихейству и зороастризму. Причину дуализма исследователь видит в определенных типах социальных и духовных структур.

Обращаясь к изучению отдельных элементов румынской космогонии, он отмечает существенные совпадения с философскими системами античности, где вода, воздух, огонь, земля, небо, числа становятся первоэлементами, функционируют одновременно как модели и как субстанции. В мифе о создании мира и человека дуалистический принцип ярче всего проявляется в противоборстве бога и дьявола. Сатана отождествляется с энтропией, дисгармонией, даже когда он выступает в роли «культурного героя». Происходит моральная переоценка его деяний: обучение искусствам и ремеслам, полезным навыкам оказывается лишь очередным соблазном, ловушкой для людей. В дуализме космогонических мифов автор видит диалектическое созидательное единство двух первопричин (как в китайской философии, у Эмпедокла). В последней части книги Г. Влэдуцеску рассматривает космогонические модели разных румынских авторов XVIII—XX вв., начиная с Д. Кантемира и вплоть до Л. Благви.

На логичном переходе от анализа сюжетов и символов колядок и баллад к исследованию мифа в творчестве М. Эминеску, М. Садовяну и М. Преды построена монография М. Комана «Мифологические источники» [10]. Она принадлежит к области фольклористики, определяемой румынскими учеными как «палеофольклор» или «палеоэтнография». Классическими трудами этого направления считаются книги Р. Вулкэнеску (в первую очередь «Небесная колонна» [11]), Т. Херсеня [12] и др. Главная задача таких работ — поиск «протосюжетов», «архаического субстрата»: от мотивов румынской литературы через сопоставление с другими письменными традициями исследователь движется к фольклорным первоисточкам, а от них к архаическому субстрату, реконструируемому древнему ритуалу (например, инициационному).

Для анализа М. Коман выбирает несколько текстов колядок, в которых появляются лев, олень, лань, бык, олень. Лев и олень — объекты охоты главного героя. Олень убивается ради свадебного пира и построения нового дома. Исследователь показывает, как брачная сюжетная линия оказывается изоморфной традиционной космогонии (свадьба тождест-

венна началу космоса, охота на священное животное — жертвоприношению мифического зверя, свадебный пир, новоселье — созданию космоса). В то же время эпизоды охоты и борьбы с животным можно интерпретировать как этапы инициационного обряда.

В другой колядке — о лань, убегающей от прекрасного охотника и находящей смерть в скалах — автор книги видит следы инициации, на этот раз — женской (здесь указывается на аналогии с дионисийским культом). Мотив быка (или оленя), приносящего герою невесту в качестве между рогами, М. Коман истолковывает как метафору свадьбы — перехода в новый социальный статус и новый жизненный цикл.

Анализируя баллады «Миля», «Корбя», автор обращает внимание на присутствие в них таких полумифических существ как змей и дракон, которых можно трактовать как одну из ипостасей фракийского бога Сабазияса. (Отметим, что истолкованию мотива змей-божество немало места уделено в книге Э. Агригороаеи «Земля незабвенных созвездий» [13]).

Последняя часть книги состоит из трех кратких эссе о творчестве румынских писателей. Особенно интересна трактовка новеллы М. Преды «Перед смертью», где сюжет истолковывается с помощью фольклорных мотивов.

Книга Э. Мунтяну «Мифологические мотивы в румынской драматургии» [14], изданная в той же серии «Университас», что и работы Ч. Табарчи, А. Фоки, М. Брэтулеску, относится к числу монографий, посвященных исследованию фольклорных истоков румынской литературы. Она привлекает огромным фактическим материалом: на ее страницах разбираются произведения десятков драматургов XIX—XX вв.

Автор рассматривает роль мифа в становлении драматургии, начиная с античных времен. Именно миф был первым и главным источником трагедии, но литературная эволюция привела к его десакрализации.

Обращение к античным мифамшло в русле освоения античного, классического наследия, — зачастую с помощью западноевропейских образов, — в формах анакреонтической поэзии, исторических эпопей в духе Гомера, классицистических трагедий. Возрождение интереса к античным мифам происходит в XX в., о чем свидетельствуют «Прометей», «Фиваида», «Атриды» В. Ефтимчу; «Эдип спасенный» Р. Станки; «Эдип» Д. Энес-

ку; «Орест», «Электра и читатель 1960» А. Войнеску; «Алкестис» Д. Ботты, «Ифигения» М. Элиаде, в которой писателю удалось найти соответствия античному мифу в национальных балладах «Миорица» и «Мастер Маноле».

Не менее богатым источником стали библейские сюжеты: всемирный потоп, история Каина и Авеля, миф о Христе, воспринятый через призму народного «вертепа». Знаком обращения к большой предшествующей традиции стали пьесы, построенные на литературных мифах о Дон Жуане, Фаусте.

Осознание своей национальной самобытности, подкрепленное изысканиями в области фрако-дакских древностей, привело к созданию национальной мифологии на театральных подмостках. Первым это осуществил М. Эминеску в своих поэмах и драматических набросках. Яркими образцами этой традиции стали «Бронзовые волки» А. Маниу, «Замолкое» Л. Благги. В наши дни к дакским мифам обращаются такие драматурги, как Э. Поенару и М. Райку, Г. Сэлчану, А. Т. Попеску, В. Шербэнеску и другие. Источниками становится также национальный (уже собственно румынский) миф о создании Молдовы Драгошем — легендарным охотником.

В румынскую драматургию приходят и важные для национального самосознания балладные сюжеты — «Миорица» и «Мастер Маноле», осмысляемые как вечная драма творчества и познания. Миф о мастере Маноле вышел за рамки национальной культуры и был использован португальским драматургом Х. Дантасом в драме «Собор».

Подводя итоги исследования, Э. Мунтяну высказывает предположение, что мифологические сюжеты в том или ином виде будут всегда питать современную художественную литературу и драматургию.

Рассмотренные нами работы показывают многообразие подходов к изучению духовной культуры. Благодаря исследовательской деятельности ученых богатое фольклорное наследие румынского народа не столь быстро уходит из жизни. Остается лишь присоединиться к сожалениям румынских фольклористов, что до сих пор не создан этнографический и фольклорный атлас Румынии. Его появление, думается, даст новый толчок к исследованию румынских древностей и станет хорошим подспорьем для специалистов в области романского и славянского этногонеа.

Кабакова Г.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ursache P.* Prolegomene la o estetică a folclorului. București, 1980, 341 p.
2. *Fochi A.* Estetica oralității. București, 1980, 414 p.
3. *Tabarcea C.* Poetica proverbului. București, 1982, 305 p.
4. *Brătulescu M.* Colinda românească. București, 1981, 349 p.
5. *Caraman P.* Descolindatul în sud — estul Europei I. — Anuarul de folklor. II, 1981, p. 57—94.
6. *Cuceu J., Cuceu M.* «Sîngeorzul» — un ritual mana în folclorul românesc. — Anuarul de folklor. II, 1981, p. 201—214.
7. *Gherman T.* Plugarul sau trasul în apă. — Anuarul de folklor. II, 1981, p. 157—200.
8. *Vrabie Gh.* Poetica Mioriței. București, 1984, 158 p.
9. *Vlăduțescu G.* Filosofia legendelor cosmogonice românești. București, 1982, 243 p.
10. *Coman M.* Gavoare mitice. București, 1980, 301 p.
11. *Vulcănescu R.* Coloana cerului. București, 1972, 268 p.
12. *Herseni T.* Forme străvechi de cultură populară românească. Cluj-Napoca, 1977, 338 p.
13. *Agrigoroaei E.* Țara neuitatelor constelații: folclor arhaic românesc. Iași, 1981, 294 p.

НОВЫЙ СЛАВИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ В ФИНЛЯНДИИ

В Хельсинки в 1984 г. вышел первый том нового журнала по славистике — «Studia Slavica Finlandensia». Журнал издается Институтом культурных связей между Финляндией и СССР (известным также как Институт Советского Союза — Neuvostoliittoinstituutti) при Министерстве просвещения Финляндии. Его

ответственный редактор — Вальдемар Меланко, директор Института, научные редакторы — Арто Мустайоки и Эрkki Поуранен, профессора русского языка и литературы в Хельсинкском и Ювяскюльском университетах соответственно.

Таким образом, довольно внушительный перечень стран, располагающих соб-

ственной славистической периодикой (от Ирландии до Японии и Новой Зеландии) пополнился нашим ближайшим северным соседом. Предпосылкой для создания журнала явилась значительная интенсификация исследований, которая последовала за появлением на рубеже 60-х и 70-х годов новых кафедр русского языка и литературы в университетах городов Ювяскюля, Тампере, Йозенсу и Турку. Сохраняет, разумеется, свое значение и соответствующая кафедра в Хельсинки, с которой связана деятельность таких выдающихся финских славистов прошлого, как Й. Миккола, Я. Калима, В. Кипарский. Ныне на смену этим крупнейшим, но одиночным фигурам выходит целая плеяда молодых исследователей, интересы которых — как это «задано» традициями славистики в Финляндии и подтверждается содержанием нового журнала — лежат главным образом в сфере русского языкознания.

В первом томе опубликовано 15 статей (большинство — по-русски, две — на английском языке). Наиболее крупный и единый массив составляют среди них работы, посвященные сопоставительной грамматике русского и финского языков (и тем самым наиболее прямым образом связанные с практикой преподавания русского языка в финских университетах): М. Лейнонен «Количественные предложения в финском и русском языках»; А. Мустайоки «О различных степенях соответствия глагольного управления в русском и финском языках»; К. Мякиля «О выражении направленности действия в русском и финском языках (На материале глаголов движения)»; И. Вехмас-Лехто и А. Родима «К вопросу о порядке слов в русском и финском языках». В статье А. Мустайоки обращает на себя внимание предложенная градация степеней соответствия в моделях управления, ориентированная на языковое сознание носителей языка: а) разноязычные модели, осознаваемые как прямые соответствия (*Он рассказывал о поездке* — *Hän kertoi matkasta*); б) модели другого языка, вызывающие в буквальном переводе (в данном случае — с финского на русский) представления о другой функции актанта (*Он помогает маме* — *Hän auttaa äitiä* [партнив], букв. «Он помогает маму»); в) модели другого языка, звучащие в буквальном переводе как аномалии, но не вызывающие представления об иных ролях актантов (*Он рассердился на товарища* — *Hän vihastui toveriin* [платив], букв. «Он рассердился в товарища»).

М. Ванхала-Анншевски в статье «Локатив в функции субъекта пассивных конструкций в русском языке» исследует синтаксис и семантику фраз типа *На фабрике изготовляются сувениры*, исходя при этом из диатезной теории ленинградской структурно-типологической школы (А. А. Холодович и др.). Х. Томмола («К категории прошедшего времени русского глагола»), используя русско-финское и русско-болгарское сопоставления, исследует передачу различных аспектуальных оттенков значения прошедшего времени в языках о различием аориста, имперфекта и перфекта и в русском языке с его двухвидовой системой.

За пределы собственно русистики далеко выходит по своему значению и статья старейшины финской славистики И. Вахроса «Происхождение примперативной частицы -ка». Автор опирается на данные северновеликорусского наречия для опровержения традиционной этимологии, усматривающей в этой частице славянское и индоевропейское наследие (см., например, [1]), равно как и версии о заимствовании из прибалтийско-финских языков [2]. Отмечается, что: а) в с.-в.-р. говорах эта частица фонетически противопоставлена приместоименной частице -ка, ср. *Дай-ко эту книгу мне-ка* — это обуславливает необходимость отдельной этимологизации -ка₁ и -ка₂ как акающего варианта к -ко; б) в архаичных текстах (Аввакум; плачи из собрания Е. В. Барсова) четко прослеживается фонетическое распределение вариантов -ко (после согласных: *слушай-ко, перестань-ко*) и -тко (после гласных: *поди-тко, слушайте-тко*); в) у Аввакума представлен и вариант -токо (*дай-токо, почтите-токо*); г) до XVII в. эта примперативная частица совершенно неизвестна, а появляется она в первую очередь в контекстах фамильярного содержания. На основании этого И. Вахрос выдвигает версию о происхождении рассматриваемой частицы из *то(ль)ко* благодаря речевому аллегро. Эта этимология не лишена определенных слабых звеньев (ср. диалектные формы типа *дай-ко-те = дай-те-ко*), но несомненно прелекает своей филологической конкретностью.

С этой статьей сближается по своему духу (п результатам) исследование М. Оянена «О „ягодных“ суффиксах в русском и финском языках». Здесь показано, что — вопреки бытующему представлению — финский суффикс *-(i)kka* в названиях ягод (*mansikka* «земляника», *mustikka* «черника», *vaapukka* «малина»)

и т. д.) не представляет собой русское заимствование, в частности, в силу того, что для с.-в.-р. говоров более характерны названия ягод на *-ица*: *голубица*, *земляница*, *княженица* и т. д. (но не может ли идти речь о заимствовании славянского суффикса в более ранний период, до бодуэновой палатализации?). Вопросов этимологии (для более позднего периода) касается также Х. Велакоски в статье «О кальках по немецкой модели в русском языке».

Существенно меньшим, чем лингвистика, числом работ представлена в первом томе нового журнала литературоведческая и культуроведческая тематика. Чрезвычайно любопытны наблюдения Э. Пеуранена в статье «Акакий Акакиевич Башмачкин и Святой Акакий». Автор обнаруживает аналогии в событиях жизни и характеристиках героя «Шинели» и его тезоименников Акакия Севанского (умеренного холодом и после смерти сожженного — ср. петербургский холод и горячку Акакия Акакиевича) и Акакия Спайского (безропотно прошедшего девятилетнее послушничество у «злонравного старца» и укорявшего этого старца из гроба — ср. сюжетную линию «значительного лица» у Гоголя). Б. Хеллман («Гурья в раю. Николай Гумилев и война») анализирует личностно-психологические мотивы воспевания войны в стихах Гумилева.

Л. Биклинг посвящает статью «Ида Аалберг и ее русские гастроли (К вопросу о финско-русских театральные связях в конце XIX — начале XX в.)» откликам русской театральной общественности на игру выдающейся финской актрисы, снискавшей международное признание в качестве исполнительницы ролей ибсеновских героинь. К истории театра обращается также М. Йянис в работе «Режиссерский замысел Мейерхольда постановки „Бани“ Маяковского». В статье Э. Вилкко «Классики западноевропейской философии нового времени в русских журналах 20-х годов XIX столетия (Из истоков романтизма)» особо отмечается интерес русской публики к сенсуалистическому направлению философии (Локк, Кондильяк).

Том завершается информационной

статьей Я. Суонсюрья «Славянская библиотека», посвященной одному из крупнейших за пределами СССР собранию русских книг в Хельсинки. Ценность коллекции определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, в качестве пожертвования Гельсингфорский Александровский университет получил в 1832 г. от П. К. Александрова (побочного сына великого князя Константина Павловича) 24 тыс. томов, ранее входивших в состав Гатчинской большой библиотеки, собранной президентом Российской Академии бароном Корфом, и библиотеки Мраморного дворца (книжные собрания двух вельмож петровской эпохи — А. А. Матвеева и Г. Ф. Долгорукова). Во-вторых, в течение длительного времени Гельсингфорский университет пользовался правом на получение обязательного экземпляра всех выходивших в Российской империи изданий, благодаря чему русские книги от начала XIX в. до 1917 г. представлены в Славянской библиотеке полнее, чем в какой-либо другой из библиотек западных стран. В последнее время интенсивные усилия направляются на комплектование фондов литературы на западно- и южнославянских языках, насчитывающих в настоящее время около 30 тыс. книг (порядка 10% всех фондов Славянской библиотеки).

Ситуацию со Славянской библиотекой можно, пожалуй, считать показательной для финской славистики в целом. Русистика явилась исторически и, несомненно, останется и впредь ее стержнем, основной сферой притяжения научных интересов. Можно надеяться, что в своих очередных томах «*Studia Slavica Finlandensia*» познакомит читателей с новыми важными исследованиями как в этой традиционной области, так и в других областях изучения славянских языков, литератур и культур.

Хелимский Е. А.

ЛИТЕРАТУРА

1. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 2. М., 1967, с. 147.
2. Топоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ топонимов Верхнего Поднепровья. М., 1962, с. 249.



СОБРАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМИССИИ ПО СЛАВЯНОВЕДЕНИЮ

28—30 августа 1985 г. в Штутгарте (ФРГ) в рамках XVI международного конгресса исторических наук состоялось собрание Международной комиссии по славяноведению (МКС). На собрании рассматривалась проблема «Экономические и общественные отношения между славянским миром и германским с XVI в. до первой мировой войны». В докладе Г. Г. Нольте (ФРГ) освещались экономические связи между Нидерландами и Россией в XVII в. Ю. Бардах (ПНР) в докладе «Фламандцы и голландцы в Польше (XVI—XVIII вв.)» показал правовое и имущественное положение этих категорий поселенцев-колонистов. Э. Седен (США) обратил внимание на важность контактов В. Н. Татищева с немецкими и скандинавскими учеными для написания «Истории Российской». К. Грау (ГДР) остановился на роли Д. А. Голицына в русско-немецких научных связях второй половины XVIII в. Доклад Х. Газельштайнера (Австрия) был посвящен оппозиции хорвато-славонских комитатов Иосифу II в связи с рекрутским набором (1787—1790 гг.). Н. Петрович (СФРЮ) отметил некоторые особенности экономических и общественных связей южных славян с германским миром в XVIII—XIX вв. Эта проблема затрагивалась в выступлениях Д. Зографского (СФРЮ) и сообщениях В. Паскалевой и М. Тодоровой (НРБ). В докладе Я. Шолты (ГДР) была показана деятельность верхнедунайского научного общества в Гёрлице в XVIII — начале XIX в. Л. Тшегяковский (ПНР) рассказал о немецких поселениях на польской территории в конце XVIII—XIX вв. и о социальных и национальных последствиях немецкой эмиграции в польских землях. В докладе А. Зимш (ФРГ) говорилось об экономической политике Пруссии в захваченных ею польских землях во время второго и третьего разделов Ре-

чи Посполитой — в провинциях Южная Пруссия и Нововосточная Пруссия.

По мнению Е. Скворонка (ПНР), первая половина XIX в. в славяно-германских отношениях являлась переходным периодом от преобладания государственно-политических и элитарных политических контактов к расширению неформальных связей в сфере культуры и науки, между политическими течениями и в экономической области. В этих отношениях проявлялись в той или иной степени и форме негативная позиция различных кругов славянской общественности к германскому миру и тенденция к взаимопониманию и сближению, в частности, между прогрессивными силами этих народов. Д. Бериндеи (СРР) показал экономические связи Румынии с Германией в 1871—1914 гг. В сообщении Я. Млынського (ЧССР) освещалась деятельность радикально-демократических мелкобуржуазных славянских групп в Австро-Венгрии в конце XIX в. и их отношение к германскому миру. Г. Шедль (ФРГ) в сравнительном плане рассматривал социальный облик и экономическое развитие южных славян в Австро-Венгрии и поляков в России в начале XX в. Темой доклада Н. Тона (ФРГ) были контакты между русской православной общиной в Берлине и немецкими протестантами в период до первой мировой войны.

В докладе С. С. Хромова и И. И. Костюшко (СССР) «Связи российского и германского рабочего движения (до 1914 г.)» рассматривались классовая солидарность пролетариата России и Германии и значение его опыта борьбы против эксплуатации и политического угнетения для развития рабочего движения в обеих странах. Взаимодействие рабочего класса России и Германии обогащало революционные традиции пролетариата обеих стран и мирового рабочего движения. На

заседании МКС был представлен доклад В. К. Волкова (СССР) «Германская политика „Дранг нах Остен“ в истории Европы (1871—1914 гг.)».

На организационном собрании МКС были произведены изменения в личном составе Комиссии, избраны почетным президентом МКС — Ю. Бардах (ПНР), президентом — И. И. Костюшко (СССР), вице-президентами — Д. Бериндеи (СРР),

К. Герман (ЧССР), Э. Седен (США), Я. Шолта (ГДР), генеральным секретарем — Б. Мишель (Франция), членами Президиума — Я. Жарновский (ПНР), Д. Зографски (СФРЮ), Д. Оболенски (Великобритания), Р. Плашка (Австрия), Г. Роде (ФРГ), В. Христов (НРБ) и принят Устав МКС.

И. К.

НА МЕЖВУЗОВСКОМ СЕМИНАРЕ СОРАБИСТОВ

24—26 октября 1984 г. во Львовском государственном университете им. И. Франко (ЛГУ) проходил межвузовский научный семинар «Итоги и задачи советской сорабистики». Инициатором его проведения выступила кафедра славянской филологии ЛГУ, где уже давно и плодотворно изучаются проблемы серболужицкой филологии и истории. В работе научного семинара принимали участие ведущие сорабисты страны, представители вузов (Львовский, Московский, Тартуский, Харьковский университеты) и академических институтов (Институт славяноведения и балканистики АН СССР, Институт литературы АН УССР).

Семинар открыл ректор ЛГУ проф. В. П. Чугаёв. На пленарном заседании выступили: зав. кафедрой славянской филологии ЛГУ проф. К. К. Трофимович, проф. МГУ Л. П. Лаптева, ст. научн. сотрудник Института славяноведения и балканистики М. И. Ермакова.

К. К. Трофимович в докладе «Успехи и задачи советской сорабистики» указал на достижения в изучении проблем языка, литературы, истории лужицких сербов; отметил большие заслуги Института славяноведения и балканистики в развитии этой отрасли науки (издано несколько монографий, два научных сборника, готовится третий). В другом сорабистическом центре — ЛГУ кроме лингвистических исследований (их результат — верхнелужицко-русский словарь, докторская диссертация, учебники) занимаются проблемами литературы, что нашло отражение в статьях и в первом в стране очерке серболужицкой литературы. Проблемы истории Лужицы плодотворно изучаются в МГУ. В последнее время интересные научно-исследовательские работы стали проводиться во Фрунзе и Ужгороде (по

истории), в Киеве (по литературе), в Тарту (по языку), что, однако, не уменьшает важности дела подготовки новых специалистов, координации работы сорабистов страны. В заключение проф. К. К. Трофимович выразил надежду, что семинар будет способствовать решению этих важных задач.

С докладом о русско-серболужицких связях в области науки и культуры в XIX — начале XX в. выступила Л. П. Лаптева. Отметив, что на серболужицко-русские связи прямое воздействие оказывала политическая обстановка, докладчик выделила в их развитии три периода: с начала до 40-х годов XIX в. — накопление сведений о европейских славянах, в том числе, о лужицких сербах; 40—80-е годы XIX в. — двустороннее общение в духе славянской взаимности при большом разнообразии форм; с начала 80-х годов до первой мировой войны — изменение концепции связей. В докладе отмечались факты знакомства представителей русской интеллигенции с лужицкими сербами в начале XIX в., подчеркивалась роль русских ученых И. И. Срезневского, О. М. Бодянского в установлении русско-серболужицких научных и культурных связей. В характеристике второго этапа большое место отводилось связям с лужицкими сербами русского ученого А. Ф. Гильфердинга, написавшего о них первую в России книгу. Третий этап контактов обусловлен качественными изменениями в процессе развития обоих народов и характеризуется деятельностью видного представителя сербского национального движения А. Муки.

В докладе М. И. Ермаковой «Социолингвистические исследования в серболужицком языкознании» дан анализ работ,

посвященных вопросам формирования серболужицких литературных языков, их диалектной основе, общественно-социальной обусловленности процессов стандартизации. Характеристика серболужицких литературных языков была дополнена вопросами стилистической дифференциации в них, их коммуникативных функций на фоне общей языковой ситуации в современной Лужице, освещением состояния изучения языковой интерференции в серболужицком языкознании. В докладе рассматривались и проблемы нормы, кодификации и вариантности нормы как составные части общей социолингвистической проблематики.

В ряде докладов рассматривались литературоведческие проблемы. Проф. С. В. Никольский (ИСБ АН СССР) в докладе «Серболужицкая литература в советских энциклопедических и литературоведческих изданиях» отметил, что особенно интересны исследования серболужицкой литературы в нашей стране в настоящее время во многом связаны с новым этапом в развитии советского литературоведения, когда особый упор делается на углубленное и систематическое осмысление мировой литературы как целого с одновременным вниманием к многообразию составляющих ее национальных литератур. Серболужицкая литература получила отражение в Краткой литературной энциклопедии, в подготавливаемых в настоящее время к печати томах «Истории всемирной литературы». Рассмотренная в контексте других литератур, серболужицкая литература с особой наглядностью обнаруживает как свои специфические черты, так и общие закономерности, которым подчиняется ее развитие. С. В. Никольский указал на большие заслуги в исследовании литературы лужицких сербов славистов ЛГУ В. А. Моторного и К. К. Трофимовича, создавших очерк ее истории, исследующих различные этапы ее развития.

С докладом об украинско-серболужицких литературных взаимосвязях послевоенного периода выступил зав. кафедрой зарубежных литератур ЛГУ В. А. Моторный, остановившийся на фактах, свидетельствующих об их активности и плодотворности. В послевоенный период как на Украине, так и в Лужице была проделана немалая работа по ознакомлению общественности с литературами обоих народов. На Украине вышла большая антология лужицкой поэзии, сборник повестей и рассказов лужицких писателей. В Лужице появились переводы класси-

ческой и современной украинской литературы. Советские ученые посвятили литературе Лужицы послевоенного периода немало статей и публикаций. В научном сборнике ЛГУ были опубликованы неизвестные письма Барта-Цишицкого, появились многочисленные работы отдельных лужицких писателей — Ю. Брезане, Ю. Кохе, К. Лоренце и др. Доклад В. А. Моторного подвел некоторые предварительные итоги развития литературных связей между Лужицей и Украиной.

В выступлении ст. научн. сотрудника Института литературы АН УССР Н. Н. Павлюка был обобщен опыт работы коллектива украинских переводчиков над антологией серболужицкого рассказа, подготовленной по инициативе львовских сорабистов, выпущенной издательством «Дніпро» в 1984 г. и служащей живым примером действенности украинско-серболужицких связей. Антология включает рассказы ряда известных серболужицких писателей — М. Новака, Ю. Брезана, К. Лоренца, Ю. Коха и других, воссоздавая общую картину развития «малых жанров» современной серболужицкой прозы.

Белорусско-серболужицкие связи стали темой доклада белорусского поэта и литературоведа А. П. Траяновского. Начал литературных контактов Лужицы и Белоруссии было положено в 60-е годы нашего века публикацией переводов произведений литературы лужицких сербов. Наиболее значительным был сборник переводов лужицкой поэзии, в работе над которым участвовали М. Танк, Н. Гилевич, Р. Бородулин. Белорусский читатель знаком с произведениями Ю. Кравжи, Ц. Коли, М. Млынковой, начата работа над подготовкой антологии серболужицкой прозы. Лужицкие сербы, со своей стороны, заинтересованы в развитии литературных связей. Публиковались переводы белорусской поэзии, издана антология белорусской прозы «Чудак с Гончарной улицы», К. Лоренц и А. Навка перевели пьесу Я. Купалы «Паулінка».

Председатель правления Львовского отделения Союза писателей Украины Р. М. Лубкивский в докладе «Современные серболужицко-украинские поэтические взаимосвязи» сообщил о творческих контактах поэтов Лужицы и Украины, отметил оживление взаимного интереса украинских и серболужицких писателей к жизни братских народов, размах переводческой деятельности, укрепление поэтических взаимосвязей.

О переводчице украинской поэзии лужичанине Ю. Кохе рассказал украинский поэт В. И. Лучук, охарактеризовав жизнь и творчество поэта, дав подробный анализ его переводческой деятельности, популяризации украинской литературы в широком контексте украинско-серболужицких литературных контактов последних лет.

Ряд докладов был посвящен лингвистическим проблемам. В докладе проф. А. Д. Дуличенко (ТГУ) была представлена попытка типологического подхода к истории серболужицких литературных языков, для чего привлекался материал других славянских языков и литературных микроязыков в особенности. Было установлено наличие конфессионально обусловленного литературно-языкового параллелизма и конкретные формы его проявления у сербов-лужичан, пражских словенцев, восточных словаков. Выбор диалектных баз для серболужицких литературных языков рассматривался автором на макродиалектном и микродиалектном уровнях. А. Д. Дуличенко проследил также формы проявления чужих литературно-языковых традиций в ранний период истории рассматриваемых языков и в эпоху Возрождения.

Доклад доц. ЛГУ В. Е. Моисеенко был посвящен вопросу чешского языкового влияния на развитие словарного состава верхнелужицкого литературного языка. В нем рассматривался вопрос о распределении чешских заимствований по сферам функционирования и времени их вхождения в литературный язык лужичских сербов, а также о количественном и качественном составе бегемизмов в отдельных функциональных сферах. Суммарные наблюдения над составом и характером распределения чешской заимствованной лексики показывают, что в

отличие от ряда других славянских литературных языков в верхнелужицком языке лексика чешского происхождения до сих пор заимствуется и продолжает функционировать в широком спектре: от научной и узкоспециальной до бытовой.

А. А. Ивченко (ХГУ) проанализировал структурно-грамматические модели фразеологии верхнелужицкого литературного языка, организованные по структуре словосочетания. При анализе моделей привлекались результаты исследований по другим славянским языкам, что позволило отразить общее и специфическое в структурно-грамматических моделях фразеологических единиц данного типа.

С сообщением «Некоторые вопросы кодификации верхнелужицкого литературного языка в грамматиках XIX—XX вв.» выступила Н. Т. Чоршита (ЛГУ), указав, что изучение кодификации нормы верхнелужицкого литературного языка представляет особый интерес ввиду специфических условий его становления, развития и функционирования. Наблюдения над кодификацией форм причастий и деепричастий в грамматиках XIX и XX вв. показывают разнообразие этих форм у разных авторов.

Семинар «Итоги и задачи советской сорабистики» проходил в атмосфере творческого общения, обсуждение докладов было деловым и конкретным. Он имел целью не только обсудить актуальные проблемы современной славистики, но также наметить первые шаги по координации работы сорабистических центров страны. Участники форума пришли к решению проводить подобные семинары один раз в два года.

Татаренко А.

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО ПРОБЛЕМАМ ЭТНОГЕНЕЗА, РАННЕЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СЛАВЯН

Конференция по этой проблематике, организованная Советом молодых ученых Института славяноведения и балканистики АН СССР, состоялась 17—18 апреля 1985 г. В ней приняли участие молодые научные сотрудники Института славяноведения и других научных цент-

ров (МГУ, МГПИ, Института археологии, Института всеобщей истории АН СССР и др.), а также из разных городов (были представлены тезисы из Ленинграда, Киева, Новосибирска, Симферополя). Выбор именно такой темы для первой конференции подобного рода был не

случае: интердисциплинарная по самой своей сути, она, как никакая другая, была способна объединить участников, вызвать плодотворный обмен мнениями.

Открывая конференцию, чл.-корр. АН СССР Н. И. Толстой отметил, что проблемы, вынесенные в ее название, могут решаться лишь комплексно, с применением различных методов и привлечением разнообразного материала. Он выразил удовлетворение тем, что столь значительный круг научной молодежи серьезно занят изучением раннего славянства. В докладе Г. И. Кабаковой «К вопросу о происхождении одного славянского календарного обряда („сула“ — „стрела“») были рассмотрены два обряда, возводимые автором к одному инварианту — ритуальным похоронам божества растительности. В докладе О. О. Микитенко «Сербские тужбалицы: география и архаические особенности» было обосновано различие обрядов оплакивания и более архаичного причитания. В целом, в плачах можно вскрыть элементы древнего мышления, скрытые за метафорикой. В ходе последующей дискуссии подчеркивалось, что на нынешнем этапе исследований важнее историко-генетический, нежели типологический подход к материалу. М. Р. Павлова в докладе «Среда и пятница в связи с прядением» отметила связь образа среды с водой, а образа пятницы со смертью. Обсуждавшие доклад отмечали, что семантизация дней недели различна у славянских народов, поскольку в период их единства календарь был иным. И. А. Морозов в докладе «Где же ты был, черный баран? (Об одном обрядовом и игровом персонаже у славян)» рассмотрел географию распространения и особенности функционирования этого образа. В ходе дискуссии указывалось на поздний характер заимствования данного мифологического персонажа, был предложен возможный путь его миграции. Большой интерес вызвал доклад А. Б. Страхова «О своеобразии формирования восточнославянского культопочитания и специфика соотношения в нем языческого и христианского элементов». Автор ставит под сомнение наличие у восточных славян языческого пантеона и в этой связи делает вывод о неправомочности реконструкции функций языческих богов на основании функций замещивших их христианских святых: слияние разрозненных местных божков — сложный процесс, длившийся много веков уже после принятия христианства.

В прениях отмечалось, что языческо-христианский синкретизм был распространен в средние века повсеместно, и потому целесообразно в принципе разграничивать христианское мировоззрение элиты и синкретическое мироощущение масс. В сообщении М. И. Серебряннй «К интерпретации народных представлений о заклтой земле» было высказано предположение, что «заклятие» земли воспринималось как амбивалентный процесс, уменьшающий плодородие почвы и покровительство потусторонних сил. Доклад О. В. Беловой назывался «Представления о животных по материалам памятников древнерусской „естественнонаучной“ литературы». В XV—XVI вв. обособились два комплекса представлений о живой природе — книжный и народный; они существовали независимо друг от друга, причем для ученой традиции было характерно неразличение реального и ирреального.

В докладе М. П. Сиволапа и Н. А. Чмыхова «К реконструкции древнейшего периода славянства» на основе мифологических, этимологических и археологических данных утверждалось, что «протославяне» сформировались в IV тыс. до н. э. в ареале трипольской культуры, на территории Правобережной Украины, что вызвало бурную дискуссию. В сообщении С. М. Крыкша «Фракийцы и славяне» отстаивался тезис о том, что эти этносы не имели никаких контактов в Северном Причерноморье; гидронимы, считающиеся фракийскими, автор предлагает связывать с какой-либо поздней колонизацией. В ходе прений указывалось на необходимость учета динамики отступления к северу племен — носителей зарубинецкой культуры. Н. И. Соловьев в докладе «О культе бога-всадника на Балканах (К вопросу о фракийских традициях в культуре I Болгарского царства)» проследил эволюцию этого образа: герой-всадник был воплощением царского культа, впоследствии же вобрал в себя образы других богов. В дискуссии рекомендовалось проследить также и тюркскую иконографическую традицию в изображении всадника. С интересом был заслушан доклад В. Э. Орла «Гидронимия Поднепровья, Побужья и Посеймья как этногенетическая проблема». Автор перепроверил гидронимия Украины и нашел 50—60 вариантов, пропущенных исследователями ранее. Выявляются две полосы иранских гидронимов: причерноморская — более поздняя и глубинная — более ранняя.

До сих пор на Правобережье Днепра наблюдалось несовпадение археологических и лингвистических данных — работа В. Э. Орла ликвидирует этот разрыв. В сообщении Е. А. Панченко «К сопоставительному анализу памятников древнего славянского права и заговора» делалась интересная попытка сближения различных формул в магических и юридических текстах. С. А. Иванов в докладе «Древнеславянская „демократия“ в свете византийской политической философии» попытался представить знаменитый пассаж Прокопия о славянской «демократии» как политический намек на безнаказанность террора «димов» в самой Византии и личную ангажированность императора в борьбе цирковых партий. С большим вниманием был заслушан доклад В. К. Ронши «Карантанское княжество: проблемы этнополитической истории ранних словенцев». В нем исследовались уникальные условия, в которых возникло надплеменное этническое самосознание у карантанцев. Доклад вызвал дискуссию, главным образом, по вопросам дифференциации понятий прогонородности, раннефеодальной народности, племенного княжества и др. В докладе В. П. Кирилко «Отражение языческих верований восточных славян в русской церковной архитектуре» была сделана попытка истолковать луковницу православной церкви как отражение культа розы, якобы имевшего место у славян. Интересное обсуждение вызвал доклад В. П. Яйленко «Тюрки, венгры и Киев: к происхождению названия города». Автор возводит топоним к этнониму «куны», поскольку данный уйгурский народ сидел в этих местах в VI в., тотемом же имел лебедя, что породило соответствующую традицию. О. Б. Страхова рассказала о

восприятию греческой лингвистической традиции в Московской Руси. По ее мнению, явления просторечья в языке XVII в. объясняются не только влиянием юго-западной «мовы», но и массовыми переводами с греческой койне. Закрывая конференцию, С. А. Иванов отметил важность ее как первого опыта подобного рода.

Разумеется, выше были изложены лишь немногие темы дискуссий, разворачивавшихся по всем сообщениям; некоторые вопросы, возникавшие при обсуждении одних докладов, затем проходили лейтмотивом через другие обсуждения, обогащаясь новыми аспектами: например, проблема вытеснения акаузального — логическим в мифе и ритуале, проблема соотношения этноса и археологической культуры, проблема пользования результатами, получаемыми в смежных науках, и др. Дискуссия была довольно горячей (возможно, такой она и должна быть на конференции молодых ученых), но вполне научной и корректной. Многие участники отмечали, что подобные форумы важны для расширения научного кругозора начинающих исследователей, для испытания сил, оттачивания полемического мастерства, завязывания профессиональных контактов.

Немаловажным достижением явилось и то, что Совету молодых ученых Института славяноведения и балканистики АН СССР удалось, несмотря на трудности, издать сборник тезисов конференции. Лишь 18 участников имели возможность лично выступить со своими докладами, в тезисах же увидели свет еще 17. Хотелось бы надеяться, что публикация этого сборника станет на будущее хорошим прецедентом.

Иванов С. А.

От редакции

В статье Хромова С. С., Костюшко И. И. «Связи русского и германского рабочего движения» («Сов. слав.», 1985, № 5) часть, начинающаяся на с. 20 со слов «В начале 1905 г. ...», подготовлена С. С. Хромовым совместно с К. А. Вишняковым-Вишневецким.

CONTENTS

Zujev F. G. New redaction of the Programme of the CPSU on the laws of the development of the World Socialist System and the Socialist Community. *Iskol'dskij A. I.* The Yugoslavian working class in the years of socialist industrialization. *Matvejev G. F.* Features of capitalist development in the Bulgarian agriculture in 1878—1912. *Sokolovskaja O. V.* British and French diplomacy and drawing of Greece in the Entente in 1916. *Dumin S. V.* On the history of feudal landownership in the Rzecz Pospolita in XVII century (the Smolensk province in the landownership policy of the Wazy dynasty). *Gudkov V. P.* The history of literary Serbian in N. A. Popov's study. *Baranov A. I.* Russian literature in Stefan Zeromski's «Diaries». *Jahić Dj. A.* (Yugoslavia). On the linguogeographical studies of the Bosnian-Herzegovinian dialects. *Romankowa N. V.* Formal features of the author's style by Clementius of Ohrid and the Life of Constantine-Cyril. *Gerd A. S.* On the morphological typology of ancient Slavic texts 3

PEOPLES, EVENTS, FACTS

Nikolaev S. I. M. K. Sarbevski's poetical works in Russia 102

REVIEW ARTICLES AND REVIEWS

Grishina R. D. Сирков, Н. Горшенски, С. Петрова, Г. Баталски. Народът против фашизма. 1939—1945. Исторически очерк за антифашистката борба на българския народ по време на Втората световна война. *Ivanov Ju. F.* Из истории университетского славяноведения в СССР. *Gerštova J.* (Czechoslovakia). Кишкин Л. С. Чешко-русские литературные и культурно-исторические контакты. Разыскания, последования, сообщения. *Kabakova G.* New Roumanian studies in folklore. *Helimski Je. A.* New Slavic Review in Finland 108

SCIENTIFIC LIFE

I. K. Meeting of the International Comission of Slavic studies. *Tatarenko A.* The unter-university seminar of sorabists. *Ivanov S. A.* Conference of young scholars on the problems of Slavic ethnogenesis, early ethnic history and culture 122

Технический редактор *Е. В. Сеницына*

Сдано в набор 11.12.85 Подписано к печати 07.02.86 Т-00042 Формат бумаги 70×108^{1/4}
 Высокая печать Усл. печ. л. 11,2 Усл. кр.-отт. 13,6 тыс. Уч.-изд. л. 12,7 Бум. л. 4,0
 Тираж 1179 экз. Зак. 2070

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»

103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

Б - 17

В ОРДИНКА 34/38-40

ТОЛСТОМУ И И

70391

Цена 1 р. 20 к.

Индекс 70891

*В магазинах «Академкнига»
имеются в продаже:*

БАЛТО-СЛАВЯНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 1981. 1982. 344 с. 4 р. 20 к.

**ИСТОРИЯ ЛЕКСИКИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА КОНЦА XVII—
НАЧАЛА XIX ВЕКА. 1981. 374 с. 1 р. 50 к.**

**ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА. ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕКСТЫ. 1982. 405 с.
1 р. 50 к.**

**ОБЩЕСЛАВЯНСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АТЛАС. МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ, 1974. 1976. 270 с. 93 к.**

**Плоткин В. Я. ЭВОЛЮЦИЯ ФОНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1982. 129 с.
95 к.**

СЛАВЯНСКИЙ И БАЛКАНСКИЙ ФОЛЬКЛОР. 1971. 252 с. 1 р. 11 к.

**СЛАВЯНСКОЕ И БАЛКАНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ. КАРПАТО-ВОСТОЧНО-
СЛАВЯНСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ. СТРУКТУРА БАЛКАНСКОГО ТЕКСТА.
1977. 380 с. 2 р. 60 к.**

**ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ. ПРАСЛАВЯНС-
КИЙ ЛЕКСИЧЕСКИЙ ФОНД. Вып. 5. 1978. 232 с. 1 р. 20 к.**

**Заказы просим направлять по одному из перечисленных адресов ма-
газинов «Книга — почтой» «Академкнига»:**

480091 Алма-Ата, 91, ул. Фурманова, 91/97; 370005 Баку, 5, Коммунистическая ул.,
51; 320093 Днепропетровск, проспект Ю. Гагарина, 24; 734001 Душанбе, проспект Лени-
на, 95; 664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289; 252030 Киев, ул. Пирогова, 4; 277012 Киши-
нев, проспект Ленина, 148; 343900 Краматорск, Донецкой области, ул. Марата, 1; 443002
Куйбышев, проспект Ленина, 2; 197345 Ленинград, Петрозаводская ул., 7; 220012 Минск,
Ленинский проспект, 72; 117192 Москва, В-192, Мичуринский проспект, 12; 630090 Но-
восибирск, Академгородок, Морской проспект, 22; 620151 Свердловск, ул. Мамина-
Сибиряка, 137; 700187 Ташкент, ул. Дружбы народов, 6; 450059 Уфа, 59, ул. Р. Зорге,
10; 720001 Фрунзе, бульвар Дзержинского, 42; 310078 Харьков, ул. Чернышевского, 87.